БОРИСЪ СОКОЛОВЪ

ПАЛАЧЪ

УССКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „СИЛА“
БРЮССЕЛЬ

Printed in Germany.

„Ищите, Братья, ищите!! . .

Янъ Гусъ.

„Изъ черной пропасти растутъ цвѣты бѣлые.

Бѣлыя розы . . .

Навстрѣчу солнцу."

ПАЛАЧЪ

Палачъ.

(Разсказъ артистки.)

Я жила въ Кіевѣ.

И все свое время проводила въ театрѣ. Въ сторонѣ отъ тревожной и смутной жизни нашего города.

О ней, о городской жизни, ея новостяхъ и настроеніяхъ узнавала чаще всего въ театрѣ. Нерѣдко подходилъ ко мнѣ знакомый, изъ числа столь распространенныхъ нынѣ театральныхъ любителей, и въ полголоса, взволнованно, дѣлился со мною новостями вчерашняго — сегодняшняго дня.

«Вы знаете, многоуважаемая Елена Васильевна, вѣдь бѣлые сплошнымъ кольцомъ окружили Кіевъ; взорванъ мостъ на Днѣпрѣ . . .»

Или... «Подъ Фастовымъ идутъ бои, красные бѣгутъ, завтра долженъ будетъ прійти въ Кіевъ Петлюра...»

А другой знакомый, изъ красныхъ, успокаивалъ.

«Слышали сплетню, которую распространяютъ про совѣтскую власть? Будто 5-ая дивизія перешла къ бѣлымъ. Могу васъ, дорогой товарищъ, увѣрить, почти офиціально, о вздорности этихъ слуховъ. Никогда нашъ западный фронтъ не былъ столь прочнымъ, какъ теперь...»

. . . .

Я, мы, артистки и артисты, слушали и тѣхъ и другихъ, охали, ахали, волновались, спорили.

Нашъ театръ былъ обычно полонъ. И при бѣлыхъ и при красныхъ. Сѣрыхъ пятенъ, пустыхъ мѣстъ, столь непріятныхъ играющему актеру, почти не бывало. Но иногда, въ иной вечеръ, а нерѣдко два-три вечера подрядъ, намъ приходилось играть при на три четверти пустующемъ залѣ, и это служило признакомъ безошибочнымъ, что произошла—*смѣна власти*.

Или бѣлые смѣнили красныхъ, или же послѣдніе вытѣснили бѣлыхъ.

Въ эти дни мы жили слухами, которые приносилъ намъ старый Никифоръ, неизмѣн-

но при всѣхъ правительствахъ охраняющій театръ.

«Самъ Петлюра въѣхалъ со стороны Товарной въ городъ...»

«Слышали выстрѣлы? Это красные уставили батарею на Байковой горѣ. Эх-ма, сколько людей погубятъ! Какъ при туркѣ!...»

«Послушай Никифоръ, останавливалъ старика кто нибудь изъ артистовъ, а ты то самъ кому больше сочувствуешь?»

Старикъ неопредѣленно качалъ головой, хитро улыбался и бормоталъ:

«У кого, батюшка ты мой, хлѣба больше — съ тѣмъ и я.»

. . . .

И этой же хлѣбной, или вѣрнѣе по тѣмъ временамъ хлѣбно-рублевой оріентаціи, придерживался не только старый Никифоръ. Не чужды ей были и мы всѣ.

Развѣ это не въ порядкѣ вещей? Естественно и неизбѣжно.

Чуждые политикѣ мы видѣли только то, что каждая изъ приходившихъ и уходившихъ властей имѣла свои хорошія и свои худыя стороны. Но всѣ онѣ разстрѣливали, однѣ меньше, другія больше.

Всѣ притѣсняли мирныхъ жителей.

Всѣ цѣнили больше всего и прежде всего свои, ими захваченные прерогативы власти, и

глубоко и, повидимому, совершенно искренно не считались съ интересами населенія.

Въ началѣ мы цѣнили больше красныхъ. Мы, то есть, артисты. Ибо въ то время совѣтская власть щедрой рукою широко разсыпала субсидіи нашему брату. Давали возможность новыхъ постановокъ. Одобряли новаторство. Увы, мы скоро разочаровались!

Комиссары и комиссаришки, неопытные, неграмотные и задорные, вносили неурядицу удивительнѣйшую и въ безъ того мутное, театральное болото. Протекціонизмъ, ябедничество, сводничество, оказались качествами неотъемлемыми краснаго театра. И большинство театральной братіи стало не уходить, такъ какъ и уйти было не куда, а отходить отъ красныхъ. Всѣ стали пассивнѣе и безразличнѣе, равнодушно принимая происходящее.

. . . .

По существу мы были глубоко утомлены.

Утомлены не только чисто физически, это усталость, съ которой можно не считаться, но утомлены духовно.

Мы были обезсилены всѣми тѣми волненіями и эмоціями, что выпали, выпадаютъ на долю русскаго гражданина. На нашу въ томъ числѣ.

Мы были утомлены. И только, чтобы скрасить безволіе и безцвѣтность нашей жизни.

мы создавали себѣ миражъ: художественныя исканія, театральное творчество.

Оно было! И его — не было.

Оно было въ нашемъ воображеніи, ибо мы хотѣли, чтобы оно было.

Да, мы были утомлены. И когда нѣкоторые изъ нашихъ друзей, тѣ кто сохранилъ бодрость и способность думать и желать, смѣясь, иронизировали надъ нашей пассивностью, мы молчали.

Мы не умѣли, не могли даже сердиться.

«Вы посмотрите на себя, Елена Васильевна, чаще другихъ говорилъ мнѣ пріятель, нашъ кооператоръ Кривцовъ. Вглядитесь въ свою душу, и вы поймете почему гибнетъ Россія!

«Вы кто? Передовая интеллигенція!

«Та самая, что должна вести народъ, и не только вести, но и воспитывать его, помогать ему превратиться изъ стада барановъ въ скопище людей.

«Воспитатели народные! Вы то! Посмотрите на себя!

«Обмякшая, раскисшая, вы открещиваетесь отъ всего. Отъ бѣлыхъ, отъ красныхъ, отъ самого народа, даже отъ Россіи.

«Развѣ это не правда?»

«Ну, да, да, конечно, правда!»

«А, соглашаетесь. Вотъ хорошо, хотя и это тоже характерно. Какой то дьявольскій

фатализмъ, вреднѣйшій и пагубнѣйшій. Признали свое душевное убожество и вялость и успокоились, а народъ потерявъ своихъ руководителей разбрелся и становится добычей то бѣлыхъ, то красныхъ .

«Нѣтъ, нѣтъ, запомните это, бѣда только въ васъ, если хотите, въ насъ, въ интеллигенціи. Малѣйшая неудача, неуспѣхъ — и мы впадаемъ въ полную прострацію. А самые подлые изъ насъ, или быть можетъ самые слабые изъ насъ, уже готовы отказаться отъ всего святого и идти на поклонъ. Только бы поѣсть.....

«Да, такъ то, Елена Васильевна, вотъ Вамъ и Россійская интеллигенція. Нѣкоторые, вродѣ васъ, ищутъ отдохновенія въ различныхъ миражахъ. Другіе пошли къ коммунистамъ. Придутъ завтра бѣлые, и эти послѣдніе сейчасъ же перекрасятся. Да! — а мораль, твердость убѣжденій, чистота принциповъ — это все къ черту.»

. . . .

Да, много правды было въ словахъ Кривцова. Быть можетъ, даже больше, чѣмъ онъ предполагалъ, ибо и усталость наша, и безразличіе зачастую были порождены глупѣйшимъ и всеобъемлющимъ фатализмомъ.

Разстрѣляли брата...

Пусть! Значитъ судьба...

Судьба?!

„Ищите, Братья, ищите!! . .

Янъ Гусъ.

„Изъ черной пропасти растутъ цвѣты бѣлые.

Бѣлыя розы . . .

Навстрѣчу солнцу.“

Поплакали. Поволновались и . . . жизнь шла по прежнему.

«Слыхали, комиссаръ Четверковъ въ Чека избилъ заслуженнаго профессора Х?»

Удивится интеллигентъ, спроситъ «И серьезно избилъ»?

«Бѣлые-то, сообщаютъ интеллигенту, разстрѣливаютъ всѣхъ прогрессивно думающихъ».

«Да? переспроситъ интеллигентъ, и многихъ разстрѣляли?»

И переспроситъ какъ о чемъ то обычномъ, въ порядкѣ вещей происходящемъ.

Переспроситъ, и иногда еще улыбнется по хорошему.

Такъ, какъ умѣетъ только улыбаться россiйскiй интеллигентъ.

Немного жалостливо, слегка смущенно.

. . . .

Я жила на Липкахъ.

Домикъ небольшой, двухэтажный, нѣкогда свѣтло окрашенный, теперь онъ потемнѣлъ отъ времени. Занимала я комнату во второмъ этажѣ, съ окнами въ садъ.

Деревья давно неподрѣзанныя буйными вѣтвями слились другъ съ другомъ. И весною задорно, со смѣхомъ, стучались въ мои окна. Внизу, въ клумбахъ запущенныхъ — нарциссы.

Одиночные. Саморожденные, они пытались

сквозь тѣнь обнявшихся деревьевъ приблизиться къ солнцу.

И пѣніе соловья, обычное, вѣковое, чертой непроходимой отдѣляло меня, мою комнату, вѣтви нашихъ деревьевъ, отъ шума и бури кроваваго города.

И приходя изъ театра я забывала, хотѣла забыть все услышанное, безпокойное и тяжелое.

Въ нашемъ саду было тихо...

А въ комнатѣ, на столѣ, какъ всегда, въ обложкѣ фіолетовой, лежалъ сборникъ стиховъ Ахматовой. Сборникъ любимый.

Гравюры, картины.

Бой старинныхъ часовъ.

. . . .

По утрамъ — не стучась, входила ко мнѣ старушка, сморщенная, сгорбленная.

Дрожащей рукой клала на столъ хлѣбъ.

«Слышь, Васильевна, слышь-ко, проснись молодуха. Стыдно спать.»

«Не сплю, бабушка. Чему же стыдиться?»

Я смѣялась, вставала, цѣловала старушку.

«Слышь, Васильевна, горе то какое. Хлѣбъ снова поднялся въ цѣнѣ. Чтой-то будетъ, Васильевна?

«Ничего, бабушка, ничего, милая. А вотъ чаю попить — будешь пить со мною?»

И долго, все утро проводили мы съ моей

старушкой за самоваромъ, покривившимся и старымъ. И сама старушка — хозяйка нашего дома, казалась мнѣ символомъ тишины, символомъ прежняго Кіева.

Богомольнаго и древняго.

. . . .

Мы играли при пустомъ залѣ.

Ложи и кресла давили насъ своей безжизненной темнотой.

«Играть для стѣнъ, для стульевъ и креселъ,» ворчалъ режиссеръ, толстый сангвиникъ, толстый по прежнему, несмотря на смутное время.

«А не играть — еще хуже,» перебилъ его первый любовникъ Аркадскій. «Здѣсь мы по крайней мѣрѣ въ безопасности. Въ городѣ же теперь рѣзня. Вошли красные, они ловятъ бѣлыхъ и желтыхъ. Идутъ разстрѣлы, слышите выстрѣлы?»

Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ то далеко, подобно рождественскимъ хлопушкамъ, раздавались ружейные выстрѣлы.

«Одиночные», небрежно замѣтила молодая Артынова, кокетливая и хорошенькая, предметъ поклоненія и бѣлыхъ и красныхъ.

«Одиночные — это не выстрѣлы!»

«Господа начинать...»

Зрительный залъ все больше пустѣлъ.

И только въ углу, въ заднихъ рядахъ пар-

тера, сиротливо жались другъ къ другу три молоденькія барышни. Видимо страхъ передъ улицей и передъ красными удерживалъ ихъ въ залѣ.

. . . .

На утро, чуть свѣтъ, старушка хозяйка уже будила меня.

«Васильевна, слышь, проснись, Васильевна.»

«Бабушка, милая, рано еще, хочется спать. Вѣдь солнце само только-только встало.»

«Васильевна, слышь, къ намъ вселили то краснаго. Вчерась подъ вечеръ пришло двое. Одинъ вродѣ начальника, съ повязкой, а другой — этотъ жилецъ нашъ.

«Есть, спрашиваютъ, бабушка, комнаты свободныя.

«Есть, есть говорю, Ваше благородіе.

«Ну, вотъ, нашего товарища и помѣстимъ къ вамъ.»

«А жилецъ то каковъ?»

«Хорошій, тихій парень.»

«Ты, баушка не бойся, даромъ что я красный, а тихой я. Буду всячески тебя ублажать.»

«Сахару далъ», восторженно зашептала старушка. «Возьми, говоритъ, баушка.»

И все время нашего обычнаго, долгаго утренняго чаепитія не могла моя старушка успокоиться. Она повторяла и пересказывала

въ десятый разъ о томъ, какъ новый красный жилецъ, и не просто красный, а съ бантомъ и медалью, какъ этотъ жилецъ далъ ей сахару и обѣщалъ «завсегда, какъ мать родную, ее, старую, ублажать.»

Съ дневной репетиціи, не состоявшейся и отмѣненной, я спѣшила домой. По улицамъ опустѣвшимъ, съ магазинами закрытыми, бродили группы красныхъ солдатъ. У домовъ богатыхъ и зажиточныхъ они останавливались, стучались, обыскивали перепуганныхъ хозяевъ, забирали вещи, реквизировали помѣщенія.

Всюду по улицамъ вели арестованныхъ, бѣлыхъ и желтыхъ, частью полуодѣтыхъ.

Мѣстами лежали неубранные трупы.

У верхней часовни я увидала на ступенькахъ ея трупъ офицера, изуродованный, съ лицомъ-маской, темной отъ запекшейся крови.

Изъ окна дома Волошиныхъ свисалъ трупъ старой женщины. Голова полуотрубленная качалась слегка отъ вѣтра. Голова была сѣдая, безъ глазъ, и со множествомъ пятенъ на желтомъ лицѣ.

. . . .

У самаго нашего дома я остановилась, удивленная.

Красный солдатъ, въ сѣрой папахѣ, сидѣлъ на корточкахъ и неумѣло, но трогательно-заботливо перевязывалъ лапку котенку.

Былъ же котенокъ смѣшной, маленькій, бѣлый, съ черными рѣдкими пятнами. Лапки его заднія были въ крови. Котенокъ жалобно мяукалъ, поджимая лапку къ себѣ, выдергивая ее изъ рукъ перевязывавшаго его солдата.

«Ишь, негодяи, креста на нихъ нѣтъ», бормоталъ солдатъ, не замѣчая меня.

«Кто же обидѣлъ вашего котенка?»

Онъ поднялся и смущенный растерянно и смѣшно прижималъ къ себѣ, къ своей груди, бѣлаго котенка. Бѣлокурая, рѣдкая бороденка, рыжеватые усики и странно круглые, неестественно выпуклые глаза.

«Мальчуганы, дѣтвора. Зашибли совсѣмъ котенка. Бѣлый, говорятъ. А бѣлыхъ велѣно убивать.» Онъ скупо бросалъ слова, отрывисто, не заканчивая фразы. Скажетъ одно — два слова, и замолчитъ.

Такъ говорятъ обычно люди нелюдимые, ушедшіе въ себя и привыкшіе подолгу бесѣдовать наединѣ съ собою.

«Не ладно трогать тварь невинную. Человѣкъ обидитъ — Богъ проститъ.

«Человѣкъ другихъ обижаетъ . . .

«А тварь немощная . . . Зачѣмъ обижать.»

«Вы котенка къ себѣ возьмете?»

«Да, да. Легче будетъ. Вотъ молочка. Тепленькаго.»

Онъ повернулся и вошелъ въ подъѣздъ нашего дома.

«Вы — новый жилецъ? Мнѣ старушка хозяйка про васъ говорила.»

«Да, да, старушка, Божья старушка...»

«Егоръ Николаевъ.»

Неожиданно бросилъ онъ и протянулъ мнѣ руку, слегка выпачканную въ крови: лапка котенка, неумѣло перевязанная, сочно кровоточила

Онъ вытеръ руку о гимнастерку и снова мнѣ ее протянулъ.

«Дѣло обычное. Дѣло обычное...»

. . . .

Мы сидимъ на крыльцѣ. Я — и старушка моя.

Яркій солнечный день.

Раннее лѣто.

Старушка принесла сухарей и кормитъ ими голубей, слетѣвшихся во множествѣ.

«Гуля-гуля, ишь добрые они, да ласковые...

«А вотъ и нашъ солдатикъ. Изъ города идетъ.»

Подошелъ Николаевъ.

Сѣлъ рядомъ.

«Порадую тебя, бабушка. Получилъ сегодня паекъ, немного масла, рыбы и сахара. Бери. Мнѣ не къ чему.»

Раскрываетъ мѣшокъ, вытаскиваетъ хлѣбъ, масло, суетъ въ руки моей старушки.

«Что ты, что ты, сыночекъ, очумѣлъ чай!»

Она, счастливая, отъ счастья смущенная. Ей бѣдной послѣднее время туго приходится. Денегъ нѣтъ. Нѣтъ и близкихъ людей.

«Бери, бери, бабушка. Чего тамъ. Старушка Вы. Немощная. А мнѣ не къ чему. Похлебалъ щей, и довольно. Вотъ выдадутъ скоро муку, — испечемъ пирогъ, не такъ ли милая, бабушка.»

«Да, да, сыночекъ, испечемъ, испечемъ.»

«А у васъ есть родные, товарищъ?»

«Н... н... нѣтъ... Д... д... да, есть сестра, въ деревнѣ живетъ, да не въ ладахъ я съ нею. Мужъ у нея больно сварливый да чванливый. Трактирщикъ. Бьетъ ее».

«А мать ваша?»

«Давно, товарищъ-артистка, умерла. Былъ я махонькій, любилъ ее, ни куда отъ себя ни на шагъ не пускалъ. Да, товарищъ-артистка. Скушно. Маешься по свѣту бѣлому, нѣтъ ни близкихъ, ни родныхъ, ни своего угла.»

«Гуля, гуля, гуля!» Онъ всталъ и началъ кормить голубей, тѣ довѣрчиво, наивно садились къ нему на плечи, на голову, клевали изъ рукъ его крошки.

. . . .

Въ саду, отъ густоты неподрѣзанныхъ деревьевъ, полумракъ. Верхушки-листья прощаются нѣжно съ засыпающимъ солнцемъ поцѣлуями красноватыми — золотистыми. Сирень, синяя и бѣлая, пышная, заполнившая

нашъ маленькій садъ ароматомъ тяжелымъ, кажется темноватой, почти черной — безжизненной.

И съ сожалѣніемъ, немного неискреннимъ, срѣзала я вѣтки сирени.

Мнѣ помогалъ Николаевъ.

«Послушайте, товарищъ-артистка, добрая вы, ласковая ко мнѣ. А вѣдь знали бы кто я, такъ руку бы подавать, небось, не стали. Слыхали... здѣсь... въ Кіевѣ...» Онъ замолчалъ.

«Ну, что?»

«Въ Кіевѣ... палачъ Николаевъ... Что, испугались?

« Да вы подождите, дайте сказать.»

Я хотѣла уйти.

Мнѣ было досадно и противно. Это былъ тихій и добрый солдатъ, и онъ оказался убійцей. Я слыхала о палачѣ Николаевѣ. Весь Кіевъ его ненавидѣлъ, боялся: жестокій, безжалостный, онъ грубо и нагло издѣвался надъ своими жертвами.

Большевики его любятъ, цѣнятъ.

«Подождите, товарищъ! Ну! Не уходите!

«Вы послушайте. Порченный я. Съ малолѣтства. Какъ выросъ въ нищетѣ, да бѣдности, злоба у меня къ барамъ. И Богу молился, и обѣтъ святому Егорію давалъ — нѣтъ облегченія. Увижу господъ — такъ все во мнѣ ходуномъ ходитъ. Да и были причины. Бивали

меня. Все только о томъ и помышлялъ, взять бы топоръ, да убить бы своего барина. Кучеромъ былъ. Хорошій, знатный баринъ. Я Богу молился. Ночи простаивалъ. Уберегъ Богъ. Спасъ отъ крови невинной.»

«А теперь?»

«Эхъ, товарищъ-артистка, не понять тебѣ меня. Иду въ Комиссію — вечеромъ — словно камни пудовые на ногахъ. Качаетъ меня, кажись вотъ не дойду, моя воля — убѣжалъ бы. А дойду — да увижу эти ручки бѣлыя, барскія, да личики холеныя, все во мнѣ поднимается, злость, чисто волчья. И, крови... крови...»

Я не могла больше слушать.

Я быстро ушла.

«Подождите, товарищъ. Подождите. Только выслушайте.»

. . . .

Ко мнѣ пришла моя подруга Нератова.

Блѣдная, взволнованная, обычно нарядная, она была теперь небрежно одѣта и причесана.

«Арестовали брата, Игоря. Пришли. Обыскали. Нашли револьверъ».

Она горько заплакала.

«Вѣдь тамъ ужасы. Передъ тѣмъ какъ убить ихъ избиваютъ. Раздѣваютъ. Вырываютъ золотые зубы... Помогите.

«Игорь уходя говорилъ: только бы не били...

«Помогите..!»

. . . .

Въ театрѣ слезы и слезы...

У одной арестованъ мужъ, у другой братъ.

И подъ настроеніемъ общаго горя близкихъ людей, я съ ужасомъ возвращалась домой.

Боялась лишь одного, встрѣтиться съ Николаевымъ.

Я не могу!!

Я буду кричать, плакать, его оскорблять.

И когда я слышу его шаги, внизу на лѣстницѣ, я запираю дверь.

. . . .

Моя старушка волнуется.

«Слышь, Васильевна, съ жильцомъ то нашимъ, съ солдатикомъ-то, что-то творится неладное.

«Бродитъ все по дому, да по аду, ни съ кѣмъ не говоритъ. Про себя что-то бормочетъ.

«Вчерась спрашиваю его: да ты, сыночекъ, можетъ, боленъ? Заварить тебѣ, чтоли, малиноваго цвѣту. Выпьешь, какъ рукой сниметъ. А онъ поглядѣлъ на меня, ничего не отвѣтилъ и ушелъ. Да только...»

Здѣсь старушка сдѣлала хитрое лицо, покачала неодобрительно головой и прибавила:

«Да только... кажется мнѣ, что ты, суда-

рушка моя, сглазила нашего парня. Ходитъ по саду, да все въ твое окно поглядываетъ.

«Молодая ты, да пригожая.»

«Ну, ну, бабушка, не бойся.»

. . . .

Усталая, послѣ длиннаго, параднаго, въ честь красныхъ гостей, спектакля, я возвращалась домой. Была ночь. Темная. Безлунная.

«Подождите, товарищъ. Подождите. Выслушайте только меня. Выслушайте!» Хрипло, тяжело бросая слова, остановилъ меня взволнованный голосъ Николаева.

Видимо онъ меня ждалъ.

«Сядьте. Посидите.»

Я не могла отказать. Сѣла.

«Тамъ, въ саду, помнишь, ушла ты отъ меня. Тяжело, давитъ на сердце. Вѣдь первая подошла ко мнѣ съ лаской. А теперь бѣгаешь словно я чумной.

«Ну, да. Палачъ я.

«Такъ развѣ по доброй волѣ? Начальство велитъ. Посуди сама . . .»

«А ваша ненависть, ваша злоба?»

«Не то, оставь. Не трожь. Вникни въ душу. Одинокъ я и съ малолѣтства кромѣ брани да ругани ничего не видалъ. Другіе пьютъ — имъ то легче. Не пью я, и тоска... Кровь? Что кровь? Всѣ мы въ крови ходимъ. Война. Развѣ не такъ?

«Въ войнѣ имперіалистической развѣ не всѣ проливали народную кровь?

«Кровь.

«Что кровь?»

Я молчала.

«Не сердись. О войнѣ къ слову пришлось.

«Не о томъ хотѣлъ сказать. Полюбилась ты мнѣ, товарищъ-артистка, Елена Васильевна.

«Какъ сестра, какъ мать подошла ко мнѣ, приласкала добрымъ словомъ.

«Сирота я. Изъ сиротства моего и ненависть моя. Вникни ты — сирота я.»

Я молчала.

«Вотъ, вотъ, зашепталъ Николаевъ, я принесъ тебѣ, возьми носи, хорошій браслетъ, золотой.»

Въ темнотѣ суетъ мнѣ его въ руку.

«Вы съ ума сошли, Николаевъ. Не нуженъ мнѣ вашъ браслетъ. Уберите его.»

«Да не отъ плохого я. Ни къ чему онъ мнѣ. А ты будешь носить. Да ты не бойся, онъ не съ нихъ взятъ, онъ купленный.»

«Не надо, Николаевъ, успокойтесь, уберите его.»

«Нѣтъ, нѣтъ, пожалѣйте меня. Не брезгуйте. Возьмите его.»

«Успокойтесь. Не могу его взять.»

Я ушла.

. . . .

За кулисами нашего театра было шумно и бурно.

Артисты и артистки, молодые и старые, всѣ окружили плотной толпой пришедшаго въ театръ комиссара города — коммуниста Четверкова.

Окружили и возмущенно распрашивали— разсказывали о разстрѣлѣ молодой артистки нашего театра Протасовой.

Арестованная за бѣлогвардейство, вѣрнѣе за то, что она была дочерью виднаго генерала, на пятый день ареста, безъ предупрежденія ея близкихъ и насъ — ее разстрѣляли.

Этотъ фактъ тяжело поразилъ весь артистическій міръ Кіева.

Молодая, добрая и отзывчивая, Протасова была всеобщей любимицей и ея смерть, ея, безконечно далекой отъ какой либо политики и контръ-революціи, казалась намъ всѣмъ чудовищно несправедливой.

«Товарищъ-Комиссаръ, это вопіющая несправедливость. Это кошмаръ!»

«Талантливая артистка. Вы сами знаете, что не занималась она, не могла заниматься политикой.»

«Господа артисты, граждане, повѣрьте, что я всѣмъ сердцемъ сочувствую вамъ. Но почему никто изъ васъ не предупредилъ меня, что она арестована?»

«Говорили, говорили, неправда, телефонировали!»

«Позоръ. Стыдъ!»

«Чертъ знаетъ что!»

«Говорятъ ее избивали передъ смертью!»

«Граждане, успокойтесь, это невозможно!»

«Вашъ палачъ Николаевъ, вашъ слуга!»

«Господа, успокойтесь. Я сдѣлаю все возможное.»

«Сдѣлаетъ... Это... это... просто низость», истерически плакала одна изъ артистокъ.

. . . .

Мнѣ не спалось.

Въ углахъ комнаты, въ серебристыхъ пятнахъ луннаго свѣта мнѣ мерещилось лицо Жени Протасовой.

Улыбается. Зоветъ за собою.

Смѣется, довольная...

Вотъ, плачетъ — горько прегорько.

Кого то проситъ. Руки ломаетъ. Умоляетъ. Падаетъ внизъ.

Пятна крови. Руки — плечо обнаженныя, жалкія.

Колечко. Смѣшное, дешевое.

«Мнѣ его мой старый отецъ подарилъ. Я еще была дѣвочкой. Я любила отца. Ужасно.»

Мы часто смѣялись надъ дѣтскимъ колечкомъ Протасовой. Это было недавно. Меньше недѣли.

Глаза безъ бровей... Изъ пятенъ кровавыхъ рождаются.

Я вскочила. Зажгла свѣтъ.

Внизу кто то ходилъ, тяжело и грубо нарушая тишину спящаго дома.

. . . .

У дверей выходныхъ, пробуя прочность заслона стоялъ Николаевъ съ револьверомъ въ рукѣ.

Лампа небрежно зажженная нестерпимо коптѣла.

Осмотрѣвъ дверь, онъ подошелъ къ шкафу, раскрылъ его, поглядѣлъ внутрь, заглянулъ подъ диванъ.

Онъ дрожалъ мелкой, частой дрожью.

Замѣтивъ меня, словно что то вспомнилъ.

«А... товарищъ-артистка.

«А мнѣ показалось, будто они ходятъ...»

«Они, кто они?»

«ОНИ. Пришли, ищутъ меня. Хотятъ отомстить. Да нѣтъ. Не найдутъ. У меня револьверъ. Два револьвера.»

«Вамъ приснилось.»

«Нѣтъ. Послѣднее время поди каждую ночь. Подойдутъ къ моимъ дверямъ. Пробуютъ войти. Видятъ заперто — уходятъ.

«Сегодня я погнался за ними, да вишь куда то скрылись.»

Его нижняя челюсть дрожала, и слова имъ

произносимыя выходили отъ этого недоконченными, обрѣзанными.

Копоть густымъ слоемъ ложилась пятнами несуразными на бѣлую скатерть стола, на искривленное лицо Николаева.

Онъ поглядѣлъ на меня. Усмѣхнулся. Спряталъ револьверъ.

«Брезгуете. Крови боитесь. А нѣтъ того, чтобы душу спасти.

«Брезгуете. Вѣдь вы барыня.

«Не сердись. Понимаемъ тебя, хотя и мужикъ.»

Онъ снова усмѣхнулся. Поглядѣлъ на лампу. Поправилъ фитиль. Вытеръ рукою копоть съ лица, вынулъ револьверъ, заперъ предохранитель, спряталъ.

Опять усмѣхнулся.

«Ушли . . .

«Да были ли они? Разстроенный я очень. Усталъ. Надо ѣхать въ деревню. Что?»

Хитро на меня поглядѣлъ.

«Что? Туда ОНИ не поѣдутъ. Тамъ не найдутъ меня.»

Онъ прошелся по комнатѣ. Попробовалъ засовъ у дверей, замокъ.

Сѣлъ на стулъ и какъ то тихо, по особенному, началъ.

«Не можется мнѣ что то, голубушка.

«Вчерась привели ко мнѣ одного мальчика. Юнкеръ чтоли, или прапорщикъ. Молоденькій

такой, изъ себя чистенькій, черненькій. Привели.

«А я смотрю на него и словно что то забылъ.

«Нѣтъ силъ и не хочется. А онъ такъ сурьезно на меня смотритъ, да строго говоритъ: Ну съ, господинъ палачъ, дѣлайте ваше гнусное дѣло.

«Смѣло такъ говоритъ. Не то что иные». ОНИ зачастую просятъ о пощадѣ. Иногда руки, ноги цѣлуютъ.

«А этотъ стоитъ словно самъ старшой. Я смотрю на него, да себѣ дивлюсь. Папиросу вынулъ, ему предлагаю: покуримъ молъ.

«Взялъ, не побрезгалъ. Хорошо, говоритъ, покуритъ. Хорошее дѣло. Сѣли на диванъ, куримъ да молчимъ.

«Тяжело?» спрашиваетъ меня. Да такъ то по сердечному.

«Да», отвѣчаю, «не легко.»

«Да! это отъ крови.

«На войнѣ приколешь нѣсколькихъ, да руки словно Богомъ проклятые послѣ этого. На войнѣ не были? «Нѣтъ» отвѣчаю, «нестроевой.»

«А какъ, спрашиваетъ, Вы стрѣляете, спереди или сзади?»

«Какъ придется, больше сзади.»

«Покурили . . . Вотъ и все.»

«Какъ все. А юнкеръ?»

«Юнкеръ что. Извѣстное дѣло! Нельзя иначе! Начальство приказало. Четверковъ и то намеднись говоритъ: какой то ты сталъ странный, Николаевъ, не внимательный.

«Нельзя, товарищъ, начальство.»

. . . .

За Днѣпромъ шла перестрѣлка.

Наступали поляки, впрочемъ, быть можетъ Петлюра.

По улицамъ скакали верховые, закрывались ставни и двери, обыватели прятались по домамъ, по подваламъ. Запасались провизіей.

Въ театрѣ было пусто. И въ залѣ сиротливо сидѣло десятка два зрителей.

Никифоръ, старый Никифоръ, принесъ послѣднія новости, базарныя, непровѣренныя.

Большевистскій штабъ выѣхалъ изъ Кіева. Красныя войска поспѣшно отступаютъ.

«А на улицахъ уже ловятъ отставшихъ красныхъ. Ловятъ и тутъ же пристрѣливаютъ.»

«И за дѣло.»

«Тише, господа, вспомните Женю Протасову. Не надо политики!»

«Бѣлые, красные, — мы артисты — мы внѣ политики.»

«Да, но они убійцы...»

«Гражданская война...»

«Бросьте, господа, не надо. Пора начинать, второй звонокъ.»

Утромъ рано меня разбудила моя старушка.

Было яркое утро. И солнце радостное, самодовольное, заливало лучами смѣющимися мою кровать.

«Слышь, Васильевна, вчерась подъ самый вечеръ жилецъ то нашъ прибѣжалъ изъ города, мигомъ собралъ свои пожитки, попрощался, далъ мнѣ сотню рублей, «а это, гритъ, передай, бабушка, жиличкѣ твоей. Хорошая она, гритъ, даромъ что барыня.»

Письмо было написано наскоро, неумѣлой рукой, на толстой, грубой бумагѣ, со множествомъ ошибокъ.

«Не побрезгуй, Елена Васильевна, о душѣ вспомни. Хорошая ты, ладная, да понятія настоящаго въ тебѣ нѣтъ. А коли крови боишься, продай — да въ церковь, на поминъ души раба Божія Егорія можешь отдать.»

Въ платкѣ, грязномъ, носовомъ, я нашла много золотыхъ браслетовъ, десятки золотыхъ коронокъ, нѣсколько колецъ...

Среди колецъ было и тоненькое дѣтское колечко съ надписью — «Женѣ — отъ любящаго отца.»

Брюссель 1 — 15 января 1922 г.

НИНА ХИЖНЯКОВА

Нина Хижнякова.

(глава изъ ея жизни)

I.

Всюду мебель. Стулья, тяжелые и удобные, диваны, три стола, шкафы...

. . . .

«Складъ мебели? А мнѣ нравится, мама, что комната наша такъ нелѣпо заставлена. Эта мебель — людямъ подобна: говоритъ о прошлыхъ годахъ.

Помнишь нашу квартиру? Этотъ диванъ стоялъ въ первой гостиной. На Рождество, когда елка горѣла, я, сидя на немъ, любила смотрѣть на Борю. Онъ рѣзвился вокругъ елки, срывалъ яблоки, свѣчки, игрушки. Папа смѣялся.»

«Да, папа смѣялся часто.»

«Странно, мама, намъ дѣтямъ, мнѣ особенно, была чужда и даже враждебна веселость отца. Онъ смѣялся. Но за смѣхомъ его я чув-

ствовала легкомысліе, пустоту, несерьезность. Это было всегда, съ самаго ранняго дѣтства.»

«Онъ любилъ только пріятное.»

«Не только это.. Разъ я — уже взрослая дѣвушка, его спросила: Папа, мнѣ кажется, нѣтъ у тебя ничего святого. Онъ засмѣялся, нехорошо какъ то... «И слава Богу, если такъ.» —

Это было передъ уходомъ его отъ насъ.»

«Гдѣ то онъ теперь?»

Мать наклонилась ниже надъ своимъ платьемъ.

«Говорятъ — въ Америкѣ. Сергѣй увѣряетъ, что отецъ богатъ, ведетъ успѣшно крупныя дѣла.»

«Каждому свое.»

«Прости, милая мама, но всегда, когда слышу въ твоихъ словахъ скрытую, чуть ли не прежнюю любовь къ этому человѣку, я хочу сердиться, бранить тебя, всѣхъ женщинъ.»

«Ты сильная, милая Нина. Недаромъ тебя Сережа зоветъ Каменной Дѣвой.»

Нина разсмѣялась, отбросила книгу, которую читала, откинулась въ широкомъ креслѣ.

«Вчера, мама, нашъ сосѣдъ — матросъ, нашъ уплотнитель, встрѣчаетъ меня въ коридорѣ и неожиданно такъ говоритъ: «Эхъ товарищъ, товарищъ. Смотрю я на Васъ и любуюсь. Быть бы Вамъ матросской женой. Почему? Да есть въ Васъ сила этакая. И объяс-

нить то не сумѣю. Да только больно ужъ Васъ уважаю.»

«Ну вотъ иллюстрація къ Сережиному мнѣнію о тебѣ.»

Въ комнатѣ темно. Тяжелыя портьеры успѣшно боролись съ угасающимъ петроградскимъ днемъ. Короткимъ и сумрачнымъ.

Полоса сумеречнаго свѣта освѣщала голову дѣвушки съ крупными чертами лица, правильными и красивыми. Большой ротъ, улыбающійся открыто, пышные свѣтлые волосы, строго причесанные.

Пальцы шевелились, быстро — медленно.

Пальцы тонкіе, длинные. Вся рука, сильная, мужская.

. . . .

Она любила мать.

Не какъ мать, а какъ слабую младшую сестру.

И обѣ онѣ тревожно и недовѣрчиво, не понимая, относились къ отцу.

Широкій и въ то же время узкій въ своихъ поступкахъ и настроеніяхъ, онъ былъ способенъ одинаково и на подвигъ и на измѣну.

Прежде, въ прежніе годы, часто въ сумерки, часами ходила она по длинной, тяжело убранной гостиной. Пыталась понять свою отчужденность отъ отца, отъ матери. И не только далеки были ей ея родные. Она присматрива-

лась къ своимъ сверстницамъ, къ студентамъ и студенткамъ, профессорамъ, къ лучшимъ изъ нихъ, наиболѣе идейнымъ и красивымъ душевно.

«Сегодня—да, завтра — нѣтъ. Это у тѣхъ, кто яснѣе и тверже. Чаще-же множественность. «Да» тѣсно сплетенная съ многоликимъ «Нѣтъ».

«Искатели? Ну да — искатели!

«Но развѣ можно каждый мѣсяцъ мѣнять дорогу?

«Сильные? Сила безсильная, ни на что не годная.

«Чужая я имъ.»

Вспоминались споры безконечные и нелѣпые.

«Слова? А у меня нѣтъ словъ. Точно пришла я къ нимъ съ другой планеты.»

Надъ ней иногда смѣялись.

«Вы, Нина, горная женщина.»

«Не горная, а снѣжная.»

Ибо мечтала она: кончивъ университетъ, быть изслѣдовательницей полярныхъ странъ. Теперь она изучала морское дѣло, изслѣдуя проблемы и законы льда.

«Тамъ ледъ и медвѣди.

«Холодъ и сила. Ясность!

«Здѣсь — множество законовъ, нелѣпыхъ и ненужныхъ, охраняющихъ правду.

«Здѣсь въ каждомъ сквозитъ неудержимо одно только желаніе: надругаться надъ этими законами, надсмѣяться надъ собой и перейти границы возможнаго и позволеннаго.

«И перейдя похвалить себя — это, молъ, сила» . . .

II.

Одинъ фактъ, одна втрѣча, наложила на нее отпечатокъ неизгладимый.

Было это давно — нѣсколько лѣтъ тому назадъ.

Молодая, шестнадцатилѣтняя дѣвушка, она встрѣтила человѣка несуразнаго и диковиннаго.

Съ голубыми, прозрачными глазами, твердымъ подбородкомъ, всегда въ черномъ, студентъ Тиховъ искалъ правду.

Онъ искалъ ее молчаливо, избѣгая людей, рѣдко и нехотя съ ними общаясь. Не получивъ отъ науки отвѣтовъ точныхъ и ясныхъ, а такіе только онъ могъ бы принять, онъ поднялъ вопросъ о Богѣ.

Долгіе годы бродилъ Тиховъ по скитамъ, по монастырямъ, жилъ мѣсяцы отшельникомъ въ дикихъ лѣсахъ Сибири.

Однажды весной вернулся онъ въ Петроградъ и добровольно заточилъ себя въ сумасшедшій домъ.

«Я сумасшедшій. Я вижу то, чего не видятъ другіе. Я вижу Бога, — только нѣтъ его въ людяхъ, владѣющихъ міромъ.»

Онъ искалъ Божьихъ пятенъ.

Врачи его считали больнымъ.

«Онъ сумасшедшій, но тихій», сказалъ старшій врачъ его брату профессору, пришедшему за нимъ, чтобы взять его домой послѣ десятимѣсячнаго пребыванія въ сумасшедшемъ домѣ.

«Но онъ безопасенъ?» спросилъ боязливо братъ.

«Да, онъ тихій, слишкомъ тихій, всегда молчитъ.»

. . . .

Нина познакомилась съ нимъ странно.

Она шла тихими сумерками по Англійской набережной.

Онъ ее остановилъ. Наклонилъ свою непокрытую шляпой голову, и медленно, словно конфиденціально, сказалъ:

«Я Тиховъ.»

Съ интересомъ она поглядѣла на него.

Небрежно одѣтый, давно не бритый, онъ тѣмъ не менѣе показался ей человѣкомъ культуры, ея круга.

«Нина Хижнякова»

«Въ Васъ есть, Нина, Богъ.»

Она засмѣялась, немного задѣтая.

«Я не вѣрю въ Бога.»

«Въ Васъ, въ вашей душѣ есть Божьи пятна,» повторилъ онъ снова, настойчиво и какъ то по особенному чрезвычайно тихо. Словъ не было почти слышно. Догадывалась по смыслу.

И не попрощавшись ушелъ.

Черезъ мѣсяцъ они снова встрѣтились въ одномъ изъ маленькихъ садовъ Коломны.

Онъ говорилъ ей о Богѣ.

Нина слушала его съ интересомъ, оставаясь спокойной-безразличной къ глубокой сущности его настроеній.

«Я нашелъ Бога, но Бога яснаго. У другихъ, у многихъ, Богъ сложный, спутанный, двойной или множественый.»

Онъ не объяснялъ. Онъ бросалъ отдѣльныя фразы, слова, зачастую Нинѣ совершенно непонятныя. И всегда неожиданно умолкалъ, уходилъ не прощаясь.

Нинѣ было съ нимъ хорошо.

Разъ, — это былъ сѣрый дождливый вечеръ, они встрѣтились, какъ всегда, не сговариваясь, въ одной изъ тихихъ улицъ Васильевскаго острова.

По необычному, онъ былъ безпокоенъ.

«Въ Васъ сидитъ, Нина, звѣрь.»

Нина опѣшила.

«Во мнѣ?»

«Да, Богъ и звѣрь. И вся Вы звѣриная. Силища какъ у волка таежнаго. Хочетъ —дѣ-

лаетъ. Да только Божьи пятна мѣшаютъ. Волкъ зубы оскаливаетъ, пугается, свою силу теряетъ.»

«Тиховъ, что вы говорите? Правда ли это?! Есть ли въ этомъ правда?!»

«Да, правда.» Грустно, но братски сочувственно замѣтилъ тотъ.

«Да, правда. Шелъ я и увидѣлъ Васъ. И увидѣвъ почувствовалъ въ душѣ вашей Бога. Бога яснаго, сѣтлаго, лучезарнаго.

«И возрадовался находкѣ своей.

«А потомъ разглядѣлъ ее, подоплеку вашу, то, что есть и чего нѣту.

«Ибо есть эта подоплека—только возможность, вѣроятіе, одна изъ тропинокъ лѣсныхъ. Но тропинка звѣриная.»

« Дорогая сестра, сестра во Богѣ,» Тиховъ къ ней наклонился, нѣжно прикоснулся пальцами къ ея рукѣ, «дорогая сестра, говорю тебѣ, ищи прямыхъ путей.

«Ищи Бога, отъ души простой, не извилистой.

«Только «Да.»

«А если... если не «Да», если силъ твоихъ малыхъ не хватитъ на «Да», то пусть будетъ «Нѣтъ.»

«Нѣтъ» — злое, черное. «Нѣтъ» — отъ дьявола.»

«Но не смѣшивай снѣга бѣлаго съ грязью земной.»

Онъ ушелъ.

. . . .

Черезъ нѣсколько дней, за утреннимъ чаемъ, отецъ передалъ ей газету.

«Прочти, Нина, смѣшная исторія. Какой то чудакъ вырвалъ себѣ глазъ.»

Въ газетѣ витіевато и въ тонахъ насмѣшливыхъ разсказывалось о томъ, какъ въ пятницу на Страстной въ частную лѣчебницу на 10-ой линіи Васильевскаго острова пришелъ приличный господинъ, вызвалъ старшаго врача и попросилъ того отвести свободную комнату «на три дня для тяжело больного». Уплочено будетъ впередъ. На вопросъ врача, кто же больной, прибывшій, назвавшійся Тиховымъ, дворяниномъ, студентомъ филологическаго факультета, отвѣтилъ, что тяжело боленъ онъ Врачъ далъ согласіе. Ему отвели комнату. Принявъ ванну и переодѣвшись во все больничное, господинъ Тиховъ прошелъ въ отведенную ему комнату, откуда черезъ нѣсколько минутъ раздались глухіе стоны. Сидѣлка и врачъ бросились къ нему и нашли прибывшаго лежащимъ безъ памяти на кровати. Изъ лѣваго глаза густо текла кровь, въ правой же рукѣ былъ полусжатъ окровавленный, вырванный больнымъ, глазъ.

На столикѣ нашли записку, въ которой крупнымъ и твердымъ почеркомъ было написано:

«Если око соблазняетъ тебя, то вырви его.»

А внизу приписано той же рукой:

«О! братья и сестры во Христѣ! ищите всегда ясности. ДА или НѢТЪ. Я, рабъ Божій, пошелъ по пути великаго ДА.»

Въ заключеніе, газетный репортеръ весьма многословно распространялся на ту тему, сколь, молъ, опасно стало теперь жить на бѣломъ свѣтѣ, когда сумасшедшіе гуляютъ на свободѣ. Мы, молъ, не знаемъ здоровъ ли нашъ сосѣдъ или сумасшедшій и не перерѣжетъ ли онъ черезъ минуту вамъ горло.

«Горло то перерѣжетъ, да его вмѣсто того, чтобы повѣсить или на каторгу послать, наши умники врачи по головкѣ погладятъ, да на даровые хлѣба посадятъ.»

. . . .

Нина, прочтя газетную замѣтку, опрометью побѣжала въ лечебницу.

Тамъ ее встрѣтилъ врачъ. Добрый и со славнымъ лицомъ.

На вопросъ какъ здоровье Тихова, онъ безпомощно развелъ руками.

«Безнадежно. Къ вечеру, увы, Богу душу отдастъ. Все время безъ памяти. И не столько умираетъ онъ отъ физическихъ потрясеній, сколько отъ психической депрессіи.»

«Можно пройти къ нему?»

Докторъ замялся, поглядѣлъ на Нину испытующе и не рѣшившись видимо не пустить ее, повелъ самъ къ больному.

У изголовья постели Тихова, сидѣла женщина. Вся — въ черномъ, удивительно гармонировавшемъ съ бѣлокурымъ цвѣтомъ ея волосъ. Была эта женщина молодая — красоты капризной, требовательной.

Нина узнала въ ней дочь одного виднаго генерала, барышню, репутація которой была опредѣленной и несомнѣнной какъ дѣвицы легкомысленной, любительницы свѣтскихъ развлеченій.

Съ Ниной она не была знакома.

«Невѣста Тихова», шепнулъ докторъ.

«Вчера жестоко убивалась, думали, что съ ума сойдетъ. Говорятъ, что онъ погибъ отъ любви къ ней. Смущала его земная любовь.»

Нина поглядѣла издали на обострившееся, въ твердыхъ линіяхъ лицо больного, на его блѣдную тонкую руку, и боясь расплакаться, быстро попрощавшись съ докторомъ, вышла изъ больницы.

Дома она никому не разсказала объ исторіи съ ней приключившейся. Ибо кромѣ шутокъ и насмѣшекъ со стороны отца и испуганныхъ восклицаній матери ничего другого это не могло бы вызвать.

Но оставила эта встрѣча на ея душѣ, на складѣ ея мышленія, глубокую борозду. Сама не замѣчая того, она, словно загипнотизированная, долгіе годы находилась подъ обаяніемъ словъ заповѣданныхъ ей умершимъ Тиховымъ.

Она искала ДА.

Но находила его не въ отвлеченіяхъ и меньше всего въ Богѣ.

Находила — въ жизни знанія.

Ей казалось что наука и ея пути даютъ ей это ДА.

И только они.

Ей казалось, что только слабые и безвольные постоянно сбиваются съ этого пути, попадая на тропинки, устланныя разнообразными НѢТЪ.

Когда ей становилось грустно и не по себѣ, она любила вызывать въ своей памяти лицо Тихова.

«Успокой мою душу, скажи какъ быть.»

Иногда она доходила въ такія минуты до галлюцинацій. Ей казалось, что Тиховъ пришелъ и стоитъ здѣсь, рядомъ съ ней.

Она хотѣла встрѣтиться съ невѣстой Тихова, но это оказалось невозможнымъ; та, отказавшись отъ свѣтской жизни, ушла въ монастырь.

III.

По субботамъ, по обычаю крѣпкому въ квартирѣ Хижняковыхъ собирались гости.

Большевизмъ, голодъ и бѣдность, отразились только на характерѣ этихъ пріемовъ, на составѣ посѣтителей.

Первымъ пришелъ философъ Дейеръ.

Длинноволосый и бородатый, небрежно одѣтый, въ этотъ разъ онъ производилъ особенно странное впечатлѣніе своимъ видомъ.

Лицо въ темныхъ пятнахъ, пиджакъ въ грязи.

«Не смотрите на меня, милая Нина Георгіевна, дайте лучше умыться. Сегодня цѣлый день барку громаднѣйшую выгружалъ.»

«По повинности?»

«Барка институтская. И дрова будутъ поддерживать замерзающую душу нашего Института.»

«Нелѣпо.»

«Не скажите. Дѣлалъ съ удовольствіемъ, правда, относительнымъ.»

Комната наполнялась вновь прибывшими.

Съ шумомъ ворвался моложавый, краснощекій ассистентъ Петровскій. Со своими длинными волосами, бритый, онъ имѣлъ видъ послушника богатаго монастыря. Въ универси-

тетскихъ кругахъ имѣлъ онъ репутацію большевиствующаго и, дѣйствительно, дружилъ со сферами, пользуясь ихъ расположеніемъ.

«Господа, радуйтесь. Для честной компаніи принесъ цѣлый хлѣбъ.

Выпросилъ въ Кубѣ.»

Появленіе хлѣба, правда, сѣраго-совѣтскаго, было встрѣчено всеобщимъ одобреніемъ и хохотомъ.

Позже другихъ пришелъ популярный въ Петроградѣ священникъ о. Григорій Дроздовъ.

Не старый, воспитанникъ Петроградской Духовной Академіи, онъ вмѣстѣ съ нѣсколькими другими молодыми священнослужителями сталъ во главѣ новаго религіознаго движенія, центромъ котораго были рабочіе кварталы Выборгской стороны.

. . . .

Онъ сразу завладѣлъ всеобщимъ вниманіемъ.

«Слышали, господа, нашего полку прибылю. Нашъ уважаемый философъ и свѣтило науки Россіи перешелъ въ нашъ станъ.»

«Неправда», возопилъ Дейеръ.

«Передаю какъ фактъ. У Покрова, послѣ служенія, онъ сказалъ одну изъ своихъ блестящихъ проповѣдей...»

«Которую, конечно, никто не понялъ», вставилъ иронически чей то голосъ.

«Да, которую мало кто понялъ, спокойно повторилъ отецъ Григорій. Въ этой лекціи онъ доказывалъ по обыкновенію бытіе Божіе, познаваемое интуитивно. Но дѣло не въ томъ. Послѣ лекціи вылѣзаетъ этакій мужиченко невзрачнѣйшій, да и говоритъ: «Хорошо, да больно мудрено говорилъ господинъ профессоръ, пусть онъ отвѣтитъ намъ по просту: есть ли Богъ. Богъ, котораго большевики отрицаютъ.»

«Ну, а Росскій?»

«Росскій? Вы себѣ представляете его манеру говорить? Помолчалъ этакъ съ пять минутъ, посмотрѣлъ на толпу, да и началъ: Вѣрую въ Бога.»

Въ это время незамѣтно вошелъ въ комнату высокій, стройный, изысканно одѣтый господинъ. Увидѣвъ его, Нина вся какъ то къ нему потянулась, подошла вплотную и оживленно, вполголоса начала разсказывать содержаніе происходящаго спора.

Вошедшій былъ — Сергѣй Федоровичъ Маклецовъ, женихъ Нины, въ прошломъ камергеръ, а нынѣ совѣтскій спецъ.

Петровскій съ азартомъ нападалъ на отца Григорія.

«Все это религіозное движеніе — одна блажь. Создано оно уцѣлѣвшими остатками баръ и барствующей интеллигенціей. Морочите, господа, голову русскому народу.»

«Довольно! Долой!»

«Нѣтъ, это не такъ, отвѣтилъ о. Григорій.

«Не блажь это. И никто никому головы морочить не хочетъ.

«Да и не къ чему, не для чего. То что происходитъ — это неизбѣжно, это безконечно глубоко и волнующе интересно.

«Я понимаю такъ: Россія гибнетъ.

«Да, гибнетъ, гибнетъ не только потому что голодъ цѣлыя области превратилъ въ пустыни. Но гибнетъ — русская душа.

«И большевизмъ есть отраженіе уродливое этого явленія. Для меня большевизмъ есть только дополненіе, есть только качество, а не сущность. Превзойдены всякія границы морали. И при томъ морали не буржуазной, не повседневной, а великой Морали.

«Потеряна Человѣческая Мораль.

«Можно украсть, убить, предать. Даже друга.

«И все это дѣлается безъ волненія, не отъ яркости желанія, нѣтъ просто такъ себѣ, по будничному, по вседневному.

«Вы, здѣсь собравшіеся, быть можетъ, лучшіе русскіе люди. Развѣ вы не чувствуете этого великаго разложенія души россійской?

«Вы скажете это отъ дьявола. Это отъ большевизма.

«Нѣтъ-съ, друзья мои, нѣтъ-съ, братья и сестры мои, дьяволъ позже пришелъ. Большевизмъ пришелъ на готовое.»

«Это революція. Такъ всегда происходитъ при революціи», перебилъ отца Григорія Петровскій. Былъ этотъ послѣдній взволнованъ чрезвычайно и слушалъ рѣчь съ напряженнымъ вниманіемъ.

«Говорятъ, что это революція. Говорятъ, что это происходитъ при всякой революціи.

«Господа, я не политикъ, и въ политикѣ ничего не понимаю. Но повѣрьте мнѣ, что я одинъ изъ тѣхъ, кто охотно и легко пошелъ бы за большевиками. Ихъ принципы: равенство, братство, уничтоженіе богатствъ, отрицаніе войны. . .

«Господа, да развѣ это не все то, чего хотѣла всегда россійская интеллигенція, и хотѣла не только на словахъ, но и на дѣлѣ.

«И развѣ по существу не готовы мы, интеллигенты, примириться съ бѣдностью теперешней жизни, съ недоѣданіемъ, съ голодомъ.

«Терпѣливъ русскій человѣкъ и испытанія физическія любитъ съ упоеніемъ.

«Да позволено будетъ мнѣ на примѣрѣ близкомъ остановиться. Нашъ братъ Дейеръ пришелъ сегодня сюда грязный и неумытый, послѣ дня принудительной разгрузки барки. И вѣдь пришелъ, чтобы униженіе свое показать.

Унижение и силу. Вотъ, молъ, извѣстнѣйшій философъ—а дрова носитъ съ удовольствіемъ.

«Не въ этомъ, впрочемъ, суть. Это второстепенное. Это свидѣтельствуетъ лишь о томъ. что физическую сторону большевизма мы охотно и съ сердцемъ открытымъ готовы были воспринять. И однако — не принимаемъ. Лучшіе изъ насъ, крѣпчайшіе, идейнѣйшіе.»

«И напрасно, напрасно», воскликнулъ Петровскій.

«Говорятъ, что то, что происходитъ въ Россіи имѣетъ мѣсто при всякой революціи. Нѣтъ, друзья мои, это не такъ. Во истину не такъ.

«Нигдѣ, ни въ какія времена, ни при какой революціи не нашелъ я столь великаго принципіальнаго разврата душевнаго. Никогда и нигдѣ Великая Мораль человѣка не была такъ, какъ теперь, сведена на нѣтъ. Упразднена.

«Опустошеніе души.

«Что же это значитъ? Гдѣ причины? Взгляните въ прошлое. Въ прошлое церкви православной.

«Не видите вы развѣ, что душа человѣческая была тамъ забыта.

«О человѣчествѣ, о царствѣ Божіемъ, о жизни по ту сторону Бытія, о жертвахъ—все это было. Но стадо человѣческое, стадо убогое и сиротливое было предоставлено само себѣ.

«Священники и монахи долбили ему въ голову о царствіи небесномъ. Интеллигенты го-

ворили о всечеловѣчности, о Богѣ-Человѣкѣ, о великихъ исканіяхъ. И тѣ и другіе забывали, что жизнь современная строится на основаніяхъ твердыхъ и ясныхъ. Что строится она не на пескѣ, не руками единыхъ и сильныхъ, а множествомъ людей, что жизнь завтрашняго дня создаютъ милліоны маленькихъ, ничтожныхъ людей. Людей-червей.

«Да, господа, не было въ россійской жизни и прежде въ православной церкви—реализма, того реализма, который культъ маленькаго человѣка утверждаетъ.

И это отлично сознаемъ мы, тѣ, которые любятъ Россію, которые любятъ маленькаго русскаго человѣка.

«Да, братья, все разрушено. И прежде всего разрушена до основанія, до ея низинъ, человѣческая душа.

«Но не надо отчаиваться.

«Надо строить новую жизнь. Но строить ее не на пескѣ, а на крѣпкомъ камнѣ.

«И мы хотимъ строить эту новую жизнь изъ множества камней-людей, до сихъ поръ забытыхъ, въ безпріютствѣ великомъ пребывающихъ.

«И на мѣсто старой Православной церкви, звавшей къ царству небесному, церкви, показавшей въ эти годы испытанія все свое безволіе и безпомощность, рождается новая церковь,

которая хочетъ утвердить царство Божіе на землѣ, которая ищетъ правду не на небѣ, а вотъ здѣсь, внизу, въ темныхъ закоулкахъ и уголкахъ земной жизни.

«Эта новая церковь рождается...

«Болѣе того, она уже родилась. Она есть достояніе сегодняшняго дня.

«И мы, ея строители и созидатели, вѣримъ, что только черезъ нее и отъ нея спасется наша близкая и нами любимая Россія.

Вѣримъ и твердо это знаемъ!!»

Закончилъ онъ въ полнѣйшемъ экстазѣ, съ силой удивительнѣйшей.

Закончилъ, и сейчасъ же всѣ повскакали со своихъ мѣстъ и въ комнатѣ воцарился безпорядокъ и шумъ.

Петровскій началъ что-то доказывать отцу Григорію.

Философъ Дейеръ о чемъ то шутливо разсказывалъ, вызывая смѣхъ Нины и Сергѣя Федоровича.

«Все это не то», вскричалъ истерично перебивая и заглушая всѣхъ Шамохинъ, худой, тощій, съ рѣдкой бороденькой, взлохмаченной и рыжеватой, одѣтый въ засаленный, мѣстами рваный пиджакъ.

Былъ это извѣстный писатель. Не такъ чтобы особенно извѣстный, но однако книги его читались охотно и съ интересомъ.

Стоялъ онъ въ оппозиціи къ совѣтской власти. Въ оппозиціи рѣзкой и враждебной.

«Да-съ господа, все это не то. Новая церковь, хорошо. Но это дѣло второстепенное, не существенное. Все дѣло въ большевикахъ. Была русская интеллигенція крѣпкой, хорошей и честной, пока эта мразь, эти отбросы общества не начали господствовать надъ нами . . .».

«Осторожнѣе въ выраженіяхъ . . .».

«Я не боюсь. Я говорю то, что думаю и что думаетъ вмѣстѣ со мною вся честная Россія. Во что превращена наша страна?

«На всѣхъ отвѣтственныхъ мѣстахъ—шулера, воришки мелкіе и крупные...»

«Неправда, ложь!!»

«Предательство возведено въ достоинство. Убійство благословляется. Грабежъ считается обязанностью. Когда я думаю о Россіи, я плачу, я — старый, конченный человѣкъ. А интеллигенція? Во что они превратили нѣкогда лучшую въ мірѣ интеллигенцію?

«У насъ оставалась смерть.

«Русскіе никогда не боялись смерти.

«И часто намъ казалась смерть на эшафотѣ — почтенной, красивой.

«Дѣвушки и юноши о ней мечтали еще на школьной скамьѣ.

«Французская революція, проливая кровь дворянъ, все таки оставила имъ одно, быть можетъ самое важное — красоту смерти.

«А у насъ... Грязный чекистъ съ дрожащими руками и лицомъ сифилитика ведетъ свою жертву въ подвалъ, раздѣваетъ ее и выстрѣломъ въ затылокъ убиваетъ ее. Трупъ бросается въ общую яму.

«Сдѣлано все, чтобы смерть была пошло-обыденной, мерзкой и отвратительной.

«Нѣтъ, господа, вы проповѣдуете новую церковь, церковь отъ земли.

«И хотите ее строить въ Россіи.

«Но прежде чѣмъ строить вы должны сдѣлать необходимую операцію и сбросить ту власть, что называется большевистской. До тѣхъ поръ Россія будетъ въ тупикѣ маразма.»

«И однако, замѣтилъ Сергѣй Федоровичъ Маклецовъ — говорилъ онъ твердо, ясно, заканчивая фразы и дѣлая на словахъ ударенія. И однако, есть выходъ изъ того безобразнаго, мрачнаго тупика, въ которомъ, по словамъ Никона Петровича, находится Россія.

«Повѣрьте мнѣ», онъ обвелъ глазами всѣхъ присутствующихъ, улыбнулся Нинѣ, мягко и широко, не скрывая своей радости видѣть ее.

«Повѣрьте мнѣ, я ненавижу, вѣрнѣе презираю, большевиковъ не меньше каждаго изъ васъ.

«И однако—я съ ними. Вѣрнѣе и точнѣе, я работаю, не смотря на нихъ.

«Въ Россіи все рушится, надо спасать отъ разрушенія уцѣлѣвшее.

«Гопода, пора подвести итоги — именно итоги.

«Пусть итоги печальные...

«Интеллигенція прежняя, идеалистически настроенная, съѣдена съ костями большевиками. Она ставила ставки сначала на идею—Учредительное Собраніе, потомъ на крестьянъ, потомъ, въ порядкѣ безпорядочномъ, на Колчака, союзниковъ, Деникина и Врангеля.

«Всѣ эти ставки биты.

«И ни разу, и это надо твердо помнить, не была ею поставлена ставка на самое себя.

«Почему?

«Самоуниженіе, самобичеваніе, самоотрицаніе.

«И тогда начала, подобно сорной травѣ, появляться новая интеллигенція. Безпринципная, безъидейная. Дѣловая. Вполнѣ усвоившая принципъ, что «дѣла всегда дѣла».

«Изъ кого состоитъ эта новая интеллигенція?

«Изъ немногихъ коммунистовъ, изъ бывшихъ мелкихъ, среднихъ и крупныхъ предпринимателей, изъ передовыхъ рабочихъ, тѣхъ, что прежде выходили въ мастера, и, наконецъ, изъ такихъ милостивыхъ государей, какъ вашъ покорнѣйшій слуга, деклассированный большевизмомъ, потерявшихъ все свое весьма не малое имущество, но сохранившихъ энергію, энергію и снова энергію.

«И мы, да позволено будетъ мнѣ собрать сіе разнообразнѣйшее стадо во едино, да, именно мы строимъ Россію.

«Строимъ ее помимо большевиковъ, противно даже многимъ ихъ желаніямъ. Строимъ, можетъ быть, медленно и скверно! Быть можетъ . . .

«Но мы — жизнь.

«Да, господа, жизнь идетъ.

«И она не любитъ тѣхъ, да проститъ мнѣ Никонъ Петровичъ, жалкихъ словъ, что говорили и говорятъ еще и теперь россійкіе интеллигенты.

«И изъ сегодняшней грязи и крови, подобно тому, какъ весною на лугу пробивается сквозь снѣгъ и мусоръ побѣдоносная трава — выростаетъ новая Россія.

«И мы, господа — эта трава.»

Онъ закончилъ свою рѣчь полушутливо.

Его окружили, смѣясь и апплодируя.

Начали расходиться.

Отецъ Григорій подошелъ къ Нинѣ. Издавна они были друзьями, но встрѣчались рѣдко. Пути ихъ были различны. Нина вся съ головою ушла въ науку, а отецъ Григорій въ Новую Церковь.

«Нина Георгіевна, я хотѣлъ вамъ предложить . . .

«Я знаю, что Вы далеки отъ насъ. И однако быть можетъ Вы посѣтите наше новое

братство. Есть много красиваго. Много гармоніи.»

«Хорошо, приду. Быть можетъ захватить Сергѣя Федоровича? Еще недавно онъ часами молился. Правда теперь онъ весь въ жизни на землѣ. Не такъ ли Сергѣй Федоровичъ?», смѣясь, обратилась она къ своему жениху.

Тотъ поглядѣлъ на нее, помолчалъ. Потомъ сказалъ, словно про себя.

«Земля . . .

Какъ близки Вы къ ней, Нина.»

IV.

Трудовой день въ семьѣ Хижняковыхъ начинался очень рано. Въ шесть часовъ утра мать, Ольга Михайловна, уже поднималась, охая и болѣзненно морщась отъ ревматическихъ болей, шла на кухню.

Долго растапливала сырыми, полусгнившими дровами желѣзную печурку, что стояла въ столовой, посреди комнаты. На этой печкѣ она грѣла кофе, вѣрнѣе сложный и невкусный суррогатъ его. Молока уже давно не было. Мѣсяцы, быть можетъ годы.

Сидя на низкомъ стульчикѣ передъ неразгорающейся печкой, Ольга Михайловна вспоминала прошлое. Не вѣрилось, не хотѣ-

лось вѣрить. Борьба за кусокъ хлѣба. Да еще за какой. Мысль о мужѣ ее раздражала: не то, что онъ живетъ въ довольствѣ, не то. Было грустно безъ него. Хотѣлось ему написать. Путаница...

Дрова не хотѣли растапливаться. Они трещали, стонали, капли воды отъ растаявшаго льда тушили слабо горѣвшее пламя.

Нѣтъ выхода. Скоро три года жизнь безсмысленно тяжелая. Все продано. Остались мелочи, припрятанныя на крайность.

То же Борисъ...

Это новый ужасъ.

. . . .

Мѣсяцъ назадъ у нихъ была радость. Большая, неприкрытая.

Они ждали пріѣзда Бориса, котораго не видѣли три года. Отдѣленный фронтомъ, онъ жилъ, служилъ и блуждалъ по югу Россіи, подобно множеству русской военной молодежи, захваченный водоворотомъ гражданской войны.

Одно время они считали его умершимъ — убитымъ.

Нина убивалась. Она любила его, казалось сильнѣе матери.

Съ малыхъ лѣтъ она воспитывала Бориса, наблюдая за ростомъ его душевной жизни, пытаясь привить ему свои принципы и взгляды, твердые и заостренные.

И вдругъ неожиданное письмо.

Лаконическое, странное, лишенное тѣни любви и ласки.

«Былъ въ плѣну у красныхъ, освобожденъ.

Получилъ мѣсто. Пріѣду, вѣроятно навсегда, къ вамъ.»

Письмо привезъ пріятель Бориса — молодой коммунистъ, украшенный большой красной звѣздой.

«Борисъ на хорошемъ счету. Настоящій товарищъ.»

Нина ждала его пріѣзда съ волненіемъ. Радость грядущая...

Сама приготовила и устроила комнату Борису, поставила шкафъ, мягкія кресла, письменный столъ.

«Нѣтъ цвѣтовъ, мама.»

«Глупая дѣвочка. Мы еле-еле живы. Вчера сидѣли безъ хлѣба, а ты о цвѣтахъ.»

Нина любила Бориса. Рѣдко сестра такъ любитъ своего брата. Въ немъ искала она себя, ему давала частичку своего «я».

Борисъ пріѣхалъ.

На вокзалъ пошли и мать и дочь его встрѣчать.

Въ толпѣ прибывшихъ сѣрыхъ шинелей мелькнулъ Борисъ. Восторженно радостно потянулась, побѣжала къ нему Нина.

Сухо, нехотя, ее обнялъ Борисъ.

«Какъ мать?»

«Здѣсь она, здѣсь.»

«А», безразлично и холодно замѣтилъ онъ.

Онъ оглядывалъ Нину недовольнымъ взоромъ человѣка, привыкшаго знать ее изящной и красивой.

Въ старой потертой кофточкѣ и грубыхъ сапогахъ, она выглядѣла незатѣйливой мѣщаночкой. Борисъ — высокiй, съ холенымъ, породистымъ лицомъ, въ своей длинной шинели кавалерiйскаго образца, имѣлъ видъ изящнаго офицера. Офицера краснаго, ибо большая звѣзда на шлемѣ каски говорила объ его принадлежности къ новой армiи.

Два тяжелыхъ чемодана, кожаныхъ, несъ за нимъ сгорбившись невзрачный солдатъ, вида обычно красноармейскаго. Босой, въ теплой папахѣ.

Нинѣ хотѣлось отдаться своему настроенiю и еще разъ она обняла брата, заглядывая ему въ глаза, нѣкогда столь близкiе и любимые.

Борисъ недовольно поморщился.

«Не надо, Нина, видишь народъ.»

И также холодно, нехотя, словно отбывая досадную повинность, онъ обнялъ мать.

Та начала разсказывать ему, меланхолически и скучно, о томъ, какъ грустно и тяжело имъ живется.

Все отнято: деньги, бриллiанты.

Ихъ уплотнили. Ѣдятъ они только пшенку и сухую рыбу.

Уже передъ самымъ домомъ, Нина сердито замѣтила матери:

«Не надо, мама, не къ чему, ему же это все безразлично.»

. . . .

Съ прiѣздомъ Бориса тишина и спокойствiе въ домѣ Хижняковыхъ были нарушены. Политическiе споры, ссоры, предметомъ которыхъ было, какъ правило, существующее правительство.

«Ты пропитана, Нина, консерватизмомъ и убѣжденiями своего класса. Ты типичная дворянка.»

«Вздоръ, вздоръ» волновалась Нина. «Мы давно позабыли о своемъ дворянствѣ. Посмотри на нашу жизнь, — безъ жалобъ мы исполняемъ всю черную повседневную работу.»

«Это мелочи. Это несущественно. Что же, и видные коммунисты сибаритствуютъ. Все дѣло въ вѣрѣ въ соцiальную революцiю, которая гигантскими шагами идетъ по всему мiру.»

«Вздоръ, чепуха, никакой революцiи нѣтъ, ни въ Россiи, ни въ Европѣ.»

Иногда вмѣшивалась въ разговоръ-споръ мать.

«Перестаньте спорить, дѣтки. Ну, большевики, ну, меньшевики. Не все ли равно. Былъ бы хлѣбъ, да чай...»

Но ее одновременно перебивали и сынъ и дочь.

И споръ разгорался съ новой силой.

. . . .

Разъ, когда Нина сидѣла дома и готовилась къ очередному экзамену, раздался рѣзкій звонокъ.

Она отворила дверь.

Изящная дѣвушка спросила Бориса.

«Ваше имя. Какъ сказать ему.»

«Надежда Стрепова.»

«Что?» переспросила Нина въ ужасѣ.

«Вы та самая Стрепова? Кровавая предсѣдательница Че-Ка.»

«Да, та самая,» снисходительно улыбаясь отвѣтила пришедшая.

Нина возмущенная, не считая нужнымъ сдерживаться, безцеремонно повернулась, ушла въ свою комнату, оставивъ дѣвушку одну.

Борисъ, вышедшій на шумъ, тщетно убѣждалъ разсерженную Стрепову войти къ нимъ. Та ушла, не подавъ ему руки.

Этотъ случай повлекъ за собою бурную сцену.

«Ты не имѣешь права обращаться такъ грубо съ моими друзьями.»

«Если друзья твои — убійцы, извини, я иначе обращаться съ ними не буду.»

«Стрепова не убійца. Она комиссаръ Че-Ка.»

«Не говори глупостей. Имя ея густо запятнано невинной кровью. Она убійца.»

«Ты испортила мнѣ мою карьеру. Рѣшается вопросъ о пріемѣ меня въ Политотдѣлъ. Хлопотала Стрепова. А теперь...»

«Какъ...? Ты будешь чекистомъ. Ты — Хижняковъ?»

И Нина, разсерженная, выбѣжала изъ квартиры.

. . . .

Дрова постепенно разгорались.

Мокрыя, насквозь пропитанныя водой, они давали огонь еле теплившійся.

Ольга Михайловна — очнулась отъ своихъ мыслей, тяжелыхъ и грустныхъ: Нина, бодрая и живая, подбѣжала къ матери, обняла ее ласково и долго журила за то, что та начала топить печку безъ ея, Нины, помощи.

«Хлѣба нѣтъ.»

«Ну да. Хлѣбъ получаемъ на двоихъ, а насъ трое.»

«Куда же дѣваетъ Борисъ свой красный паекъ?»

«Продаетъ, вѣроятно. Пропиваетъ.»

«Не надо, Нина. Я такъ не люблю видѣть тебя злой.»

«Я — себя еще больше. Но я не могу . . .»

«Полно, дочурка, у всякаго правда своя.»

«Ахъ мама, знаю я твою философію. Мнѣ она несносна. Кисляйство это и расхлябанность. Вотъ благодаря такой философіи и дошла наша интеллигенція до сегодняшняго униженія.»

. . . .

Мать и дочь вмѣстѣ вышли изъ дому.

Дочь побѣжала въ Географическій Институтъ, а мать — на рынокъ, вымѣнивать свои вещи на хлѣбъ.

«Досвиданья, милая мама.»

Мать кивнула ей головой и скрылась въ сѣрой толпѣ, торгующей продуктами у Сѣнного рынка.

V.

Борису нужны были деньги.

Это былъ вопросъ чести. Вчера въ гостяхъ у товарища Сипягина, комиссара Кавалерійскаго полка, онъ проигралъ крупную сумму. Сегодня онъ долженъ былъ ее отдать.

Онъ всталъ поздно.

Долго ходилъ въ раздумьи по своей комнатѣ. Выхода не было.

Тишина, царящая въ квартирѣ, возбудила въ немъ новые мысли и планы.

Онъ крадучись прошелъ въ комнату матери. Поспѣшно выдвигая ящики письменнаго стола, искалъ денегъ, золотыхъ вещей.

Поиски были неудачны. Ничего не нашелъ. Ибо все было прожито и проѣдено за эти тяжелые годы.

Поиски въ комнатѣ сестры не дали ничего

Нѣсколько рванныхъ рублей, двѣ керенки и маленькое золотое колечко, не имѣющее никакой цѣны.

. . . .

Борису жизнь казалась простой.

Досадное, темное онъ отбрасывалъ, какъ ненужное.

Гражданская война, неясность границъ жизни и смерти, свела на нѣтъ кругъ недозволеннаго.

Жизнь требуетъ. Хочется — и онъ бралъ.

Бралъ то, что раньше казалось покрытымъ грязью.

Онъ видѣлъ три ступени въ жизни текущей: очень опасное, просто опасное и безопасное.

И какъ звѣрь, повинуясь своему инстинкту, онъ искалъ наслажденій и дѣяній, укрывшись въ безопасность.

Онъ одѣлся, поправилъ свою кавалерійскую каску, украшенную красной звѣздой, и вышелъ изъ квартиры.

. . . .

Революціонная жизнь не тронула квартиры Сергѣя Федоровича Маклецова.

Многокомнатная, она была по прежнему въ тяжелыхъ портьерахъ, со множествомъ ковровъ. Бѣлоснѣжныя занавѣски.

Горничная, старая эстонка въ бѣломъ чепчикѣ, породистый догъ, серебро на буфетѣ, кабинетъ уставленный шкафами, полутемный, уютный.

Въ одной изъ комнатъ смѣялись.

Сестра Сергѣя Федоровича, молодая дѣвушка, чертами общими лица на него похожая, хохотала, слушая разсказъ своей гостьи. Странная женщина, вычурно и нелѣпо одѣтая, густо раскрашенная, разведенная жена Сергѣя Федоровича, казалась ненормальной и больной. Революція въ ней преломилась по своему. Увлеченія нелѣпыя, безумныя, матросами и солдатами, разсказы сладострастные о здоровомъ мужицкомъ тѣлѣ, безразличное и враждебное отношеніе къ своему мужу-барину, заставили Маклецова добиться развода съ ней. Любви давно не было. Все было въ далекомъ прошломъ, оставалась условность, боязнь скандала.

Жена его легко и охотно согласилась на разводъ, и теперешняя жизнь казалась ей веселѣй и полнѣй прежнихъ вечеровъ — дней, столь похожихъ одинъ на другой.

Съ сестрой мужа, Кирой, у нея сохранились дружескія отношенія, и въ часы, когда Сергѣй Федоровичъ отсутствовалъ изъ дома, она навѣщала Киру, разсказывая курьезы своей жизни, передавая ей ихъ съ юморомъ хохлушки, не безъ таланта.

«Слушай, Кирочка, слушай, дитя неразумное.

«На дняхъ, случился со мной курьезъ сверхестественный. Была я со своимъ Федей, балткомиссаромъ, въ оперѣ.

«Сидимъ въ первомъ ряду. Вижу позади сидитъ моя подруга, баронесса Черкасова, со своимъ мужемъ, и тотъ и другая, цирлихъ манирлихъ, настоящіе буржуи. Ну, подождите, думаю. Дождалась антракта. Оборачиваюсь и кричу на весь залъ: «Здравствуй, товарищъ Катя.» Та покраснѣла, смутилась, пролепетала «здравствуй», а потомъ, пошептавшись со своимъ мужемъ, ушла изъ театра.»

«Озорница ты, Аглая.»

«Да нѣтъ, Кирочка, дурочка моя. Вѣдь это болото — всѣ эти петроградцы. Говорятъ о любви, да развѣ могутъ они дать удовлетвореніе здоровой женщинѣ.

«Разговоры да объясненія. Говорятъ да говорятъ.

«Только теперь, когда стала я матросской женой и горжусь этимъ, знаю, что та-

кое удовлетворенное тѣло. Здоровые, крѣпкіе, настоящіе морскіе волки. Какъ подниметъ. . .»

«Довольно, Аглая, не хочу слушать, всегда ты объ одномъ. Какъ тебѣ не надоѣстъ...»

«Не надоѣстъ, ибо въ этомъ правда.»

Стукъ въ дверь.

Вошелъ Борисъ.

Сухо и нехотя поздоровалась Кира. Она не любила его коммунистически-гусарскаго надменнаго вида.

«Настоящій корнетъ, причемъ же здѣсь красная звѣзда.»

Аглая, увидѣвъ Бориса оживилась, схватила его за рукавъ и стала о чемъ то шопотомъ его разспрашивать.

У нихъ были общіе знакомые, общіе интересы.

. . . .

Нина устало сидѣла въ тяжеломъ креслѣ. Сергѣй Федоровичъ ходилъ по кабинету, изрѣдка останавливаясь передъ ней.

«Меня безпокоитъ Борисъ.»

«Распущенный, разнуздданный юноша. Гражданская война, грабежи и атаманщина его испортили въ конецъ.»

«Нѣтъ Сергѣй, вы не правы, въ немъ есть твердость и, что хуже всего, своеобразная жестокость.

«Онъ знаетъ, чего хочетъ. А хочетъ онъ не многаго, или быть можетъ очень многаго: на-

слажденій острыхъ и сильныхъ. У него нѣтъ ничего святого.»

«Онъ опасный человѣкъ.»

«Не опаснѣй всей нынѣшней молодежи.

«Вѣдь это все двадцатилѣтніе старики, перебывавшіе и въ бѣлыхъ и красныхъ арміяхъ. И одинаково храбро, увы, да, храбро сражавшіеся и тамъ и здѣсь.

«Всѣ они подобны Борису.»

«Бѣдная Россія . . .»

«Кто знаетъ . . . Кромѣ Бориса растетъ и другая молодежь. О ней говорилъ отецъ Григорій.»

«Кстати, Нина, о вашемъ братѣ. Сегодня онъ звонилъ ко мнѣ въ Правленіе. Просилъ денегъ, причемъ, весьма крупную сумму. Я, конечно, ему отказалъ.»

«Не давайте ему денегъ, Сергѣй. Это не къ чему. И это меня раздражаетъ.»

Становилось темно.

Они помолчали.

«Нина, я снова хочу говорить о томъ, о чемъ Вы не дали досказать въ прошлый разъ.»

Она не отвѣчала.

«Нина, чѣмъ я больше думаю, тѣмъ яснѣе для меня безсмысленность жизни здѣсь. Надо уѣзжать: за границу, въ Америку.

«Здѣсь я тупѣю, теряю вкусъ къ жизни, близокъ къ тому, чтобы стать взяточникомъ...

«Нина, послушайте, уѣдемъ.»

«Нѣтъ . . . Нѣтъ.»

«Поглядите на вашу мать.

«Еще недавно здоровая женщина—теперь она полуживая, медленно умирающая. А Вы сами? Вы такъ въ себѣ увѣрены. Но Вы не замѣчаете, что и Вы подвергаетесь медленно вліянію совѣтской обстановки.»

«Нѣтъ, Сергѣй, я не уѣду. Я часто думала объ этомъ. Не уѣду изъ чувства патріотизма. Не смѣйтесь. Я тоже иногда смѣюсь надъ собой. Но попасть въ эмиграцію, гдѣ смотрятъ на васъ какъ на отщепенцевъ, на бывшихъ людей, чѣмъ это лучше совѣтскихъ настроеній.

«Главное то, что я не могу, не нахожу въ себѣ моральной силы бросить Родину, когда она страдающая — больная.»

«Но, Нина, оставаться здѣсь? Вѣдь ничѣмъ, буквально ничѣмъ не можете Вы помочь страдающей Родинѣ.

«И только — при наступившемъ голодѣ — вы лишній ротъ.»

«Дорогой, Сергѣй, оставимъ этотъ разговоръ.

Я не могу, если хотите, не хочу уѣзжать.

Я не уѣду . . .»

Гдѣ то хлопнули дверью. Кто то вышелъ.

. . . .

Закрывались глаза отъ усталости.

Хотѣлось спать. Хотѣлось ѣсть.

По простому, много и сытно.

Иногда казалось возможнымъ: прійти и попросить любимаго человѣка. Но это было настроеніе непризнанное, подоплечное.

Принципы, линіи — твердыя, рѣзкія, были ею приняты, ею утверждены.

Въ минуты досады, когда бурей лѣсной поднимались въ ней чувства, поднимались и тотчасъ же подавлялись, — она сердито себѣ говорила:

«Раба разума. Все чепуха. Только шерсть звѣриная, что растетъ на тѣлѣ твоемъ, а ты ее вырываешь, только это настоящее.»

Но это проходило. Это было враждебное.

Закрывались глаза и она уже не слушала словъ, методически и округло бросаемыхъ Сергѣемъ.

Онъ говорилъ о фабрикѣ, о томъ что все разваливается, о томъ, что назначенъ новый комиссаръ, типа коммуниста-дѣльца...

Нина очнулась.

Передъ нею, наклонясь, стоялъ Сергѣй Федоровичъ.

«Уснула... милая. Пойдемте пить чай. Старушка Авдотья давно уже звала.»

«Не пойду.»

И, съ трудомъ поднявшись, твердо, по мужски, попрощалась со своимъ женихомъ.

Тотъ недовольно пожалъ плечами, проводилъ ее до дверей.

VI.

Отецъ Григорій ее ожидалъ.

Коротко остриженный, одѣтый въ штатское платье, онъ ничѣмъ не напоминалъ православнаго священника.

Ихъ, — его и его сотоварищей, упрекало духовенство за это новшество, видя въ этомъ соблазнъ для паствы. Но отецъ Григорій твердо отстаивалъ свои взгляды на новую церковь и новыхъ пастырей.

И постепенно онъ добивался уваженія, полупризнанія, даже со стороны тѣхъ, кто по его мнѣнію закоснѣло пребывалъ въ заблужденіяхъ старой церкви, и кто не хотѣлъ ничего, ни тончайшей линіи, въ ней измѣнить.

. . . .

Они шли по Невскому, пустынному, темному. Справа и слѣва — заколоченные магазины. Всюду кучи грязнаго снѣга, неочищенныя панели.

Говорили о Росскомъ.

«Онъ нашъ. Болѣе нашъ, чѣмъ сотни священниковъ и прихожанъ, пришедшихъ къ намъ изъ старой церкви. Ибо онъ ищетъ. И не только ищетъ, но великой вѣрой полна его душа.

Онъ еще не пришелъ къ намъ, но онъ придетъ.»

Они подошли къ Литейному.

Изъ кофейни, бывшей Филиппова, ярко освѣщенной, неслись наглые звуки военной музыки. Черезъ окна, засаленныя, безъ занавѣсокъ, видны были матросы, въ какомъ то бѣшенствѣ отплясывающіе фоксъ-тротъ. Ихъ дамы были нарядно одѣты, молодыя и старыя.

«Веселятся. Пусть себѣ веселятся.

Отъ горя прошлаго, затаеннаго, хотятъ уйти. Неистовствуютъ.»

Подошли къ длинному, казарменнаго вида, зданію. Черезъ маленькую калитку, еле замѣтную снаружи, повелъ отецъ Григорій Нину по безконечнымъ коридорамъ и подваламъ.

«Словно древніе христіане,» подумалось ей.

. . . .

Въ большомъ, съ низкими сводами залѣ, былъ накрытъ столъ, оскатертенный бѣло, уставленный простыми кружками и тарелками. Нѣсколько черныхъ хлѣбовъ, сушеная рыба, грибы. Все это было разставлено въ порядкѣ.

Свѣчей было мало и зала казалась полуосвѣщенной.

Отецъ Григорій и Нина сняли свои пальто, одѣли бѣлые, изъ грубаго холста халаты. Нинѣ это не понравилось. «Что за комедія!!»

Было много людей, оживленно разговаривавшихъ, стоящихъ группами. Всѣ они были тоже одѣты въ бѣлые халаты.

Увидѣвъ отца Григорія, его окружили, здороваясь, весело и довольно знакомясь съ Ниной.

Были это въ большинствѣ молодежь — юноши и дѣвушки.

Но среди нихъ замѣтила Нина не мало сѣдыхъ и пожилыхъ людей.

Дѣвушка, со свѣтлыми пышными волосами и удивительнѣйшимъ лицомъ, какое встрѣчается только среди русскихъ женщинъ, разсказала Нинѣ просто, не подбирая словъ, объ ихъ братствѣ.

Въ большинствѣ — они всѣ — студенты и студентки новаго Богословскаго Института, учрежденія полузаконспирированнаго отъ большевистской власти. Среди мужчинъ многіе, очень многіе, или священники или монахи, или студенты закрытыхъ духовныхъ академій. Живутъ очень дружно. Какъ подлинные братья и сестры. Ищутъ Правду.

«Помогаемъ нашимъ наставникамъ. Несемъ имъ то, что можемъ: муку, рыбу, дрова. Днемъ служимъ — надо жить. Вечеромъ и въ праздники молимся и бесѣдуемъ. Изрѣдка, въ большіе праздники—трапезы. Это очень трудно. А такъ хорошо во время этихъ трапезъ. Вотъ увидите.»

Между тѣмъ приходили все новые и новые члены братства. Всѣ они были между собою знакомы и близки, по хорошему.

Старый, сѣдой, съ длинной бородой и усталыми глазами, наставникъ позвалъ всѣхъ на бесѣду. Послѣ короткой молитвы, молчаливой, прочтенной каждымъ про себя, сѣли за столъ.

Говорилъ старый наставникъ.

Позже Нина узнала, что былъ это знаменитый проповѣдникъ — священникъ Рѣзцовъ, чьи зовущія проповѣди волновали религіозный Петроградъ.

«Братья и сестры во Христѣ. Къ познанію Великой Книги приступимъ. Ибо подобно брилліанту въ грязи и землѣ отъ долгихъ вѣковъ пребыванія измазаннаго, подобно сему, то что мы знаемъ объ Учителѣ нашемъ — должны мы отъ накипи вѣковъ очистить и къ первоисточникамъ алмазной воды обратиться.

«Великая Истина Жизни въ рукахъ у людей нерадивыхъ и лживыхъ перестала быть Истиной.

«Вмѣсто Дворца для пасомыхъ, для малыхъ сихъ построили тюрьмы и темницы, свободныхъ людей превратили въ рабовъ. Яркій свѣтъ замѣнили черною пропастью и ее вмѣсто Жизни утвердили азбукой христіанскаго ученія.

«Братья и сестры во Христѣ, родные и любимые.

«Учитель нашъ звалъ людей къ Жизни. Онъ звалъ небо—голубое и безоблачное—ЦЕР-

КОВЬ ХРИСТОВУ возсоздать на землѣ. Его слова — развѣ не есть они прославленіе жизни благославляемой небомъ. Проповѣди его развѣ не свидѣтельствуютъ, что не къ смерти, не къ церкви на небѣ, а къ бѣлоснѣжнымъ домамъ, обиталищамъ наземнымъ — звалъ Онъ.

«А люди — пастыри! Безумцы! Во что они превратили ученіе Христово!

«Вмѣсто радости познанія—горе отчаянія!

«Вмѣсто жизни — смерть!

«Вмѣсто зеленыхъ деревьевъ — обуглившіеся пни!

«Тяжелымъ проклятіемъ заклеймили они Христово ученіе. И вмѣсто Жизни — Смерть, Смерть черную они утвердили владычицей на землѣ.»

Нина слушала съ закрытыми глазами.

И на смѣну этимъ вновь воспринимаемымъ словамъ приходили старыя, казалось, забытыя слова: «И если око тебя соблазняетъ...» и усталый голосъ ей говорившій: «Нина, ищите только линій прямыхъ. Бойтесь идти между жизнью и смертью. Нѣтъ правды — въ сліяніи линій нестыкаемыхъ.»

По прямой дорогѣ или по дорожкамъ лѣснымъ, извилистымъ, правду искать?

Нѣтъ она не понимаетъ, не принимаетъ призыва стараго наставника. Она ищетъ правду, гдѣ великое ДА отметаетъ всякое НЕ.

Воцарилось молчаніе. Старикъ кончилъ говорить.

Снова молитва неслышная, безсловная

Началась трапеза...

Теперь говорилъ отецъ Григорій.

Онъ говорилъ очень просто, ясно отвѣчая на вопросы, ему задаваемые.

«Историческое изслѣдованіе сущности Христова ученія блестяще подтверждаетъ положеніе, что Христосъ былъ великій пророкъ жизни. Что жизнь онъ принималъ съ радостью, съ восторгомъ, что Онъ стремился къ гармоніи человѣческой надземной жизни.

И задачи наши, во вновь нами воздвигнутой церкви, это возвращеніе къ этимъ принципамъ, къ основоположеніямъ перваго христіанства. Иначе церковь, какъ это было до сихъ поръ, будетъ или обманомъ, или надрывомъ. Церковь должна строиться для живыхъ, а не для мертвыхъ.

Церковь живыхъ. Церковь жизни.»

. . . .

«Ну, вотъ, сестра Нина, сказалъ отецъ Григорій, когда далеко за полночь трапеза окончилась. Ну, вотъ — когда Вамъ будетъ тяжело, очень тяжело, Вы придете къ намъ. Обѣщаете?»

Нина подумала и твердо отвѣтила.

«Обѣщаю.»

Всю обратную дорогу они шли молча, не разговаривая.

Яркая луна освѣщала сиротливо разбросанныя кучи грязи на Невскомъ проспектѣ...

VII.

Третій мѣсяцъ сидѣлъ Сергѣй Федоровичъ арестованнымъ въ Дерябкинскихъ казармахъ. Взяли его какъ то неожиданно, ночью, по ордеру заранѣе приготовленному.

Обвиненіе предъявили ему въ контръ-революціи, въ желаніи бѣжать за границу, въ сношеніяхъ съ Антантой.

Къ своему аресту отнесся Маклецовъ спокойно, весьма только недоумѣвая, какими путями узнала всевѣдущая Че-Ка объ его намѣреніяхъ, и только намѣреніяхъ, покинуть совѣтскую Россію. Благодаря деньгамъ, отношеніе къ нему въ казармахъ со стороны начальства было благожелательное, передачи отъ Нины и Киры получались аккуратно, съ ними обѣими состоялъ онъ въ перепискѣ оживленной, изрѣдка — черезъ караульное окно коридора даже переговариваясь съ Ниной.

Въ камерѣ, въ которой онъ сидѣлъ, было тѣсно, душно и грязно.

Въ комнатѣ, разсчитанной на 20 арестантовъ, помѣщено было свыше 50. Были это въ

большинствѣ офицеры, каэры, не мало спекулянтовъ.

Послѣдніе дни Сергѣю Федоровичу нездоровилось: отсутствіе аппетита, общее пассивное состояніе. Но онъ скрывалъ свое состояніе и отъ Нины, ничего ей не сообщая, и отъ своихъ сосѣдей по камерѣ. Ему не хотѣлось быть переведеннымъ въ больницу — въ морилку, условія пребыванія въ которой были кошмарны.

Въ субботу утромъ его вызвали на допросъ въ П. Че-Ка.

«На допросъ, безъ вещей.»

. . . .

Предсѣдатель, безпокойный, суетливый, съ претензіями на изящество, подчеркнуто вѣжливо принялъ Сергѣя Федоровича въ своемъ кабинетѣ.

Онъ былъ новый, присланный на смѣну уволенной Стрептовой.

«Новая политика, новые люди.»

«Сядьте. Не хотите ли чаю, кофе, побесѣдуемъ по хорошему.»

У Сергѣя Федоровича болѣла нестерпимо голова, самочувствіе было тяжелое, подавленное.

Воспринималъ слова неохотно и вяло.

«Рѣшено Васъ выпустить.»

Засмѣялся, наклонился къ Сергѣю Федоровичу.

«Не вѣрите? Думаете шутка.

«Самъ товарищъ Рыковъ хлопоталъ о Васъ. Ха-ха. Какъ же, лучшій спецъ, настоящій и давнишній.»

Солдатъ въ формѣ вохры принесъ чаю, двѣ булочки, сахару.

Жадно и охотно сталъ пить чай Маклецовъ.

«Да, такъ и пишетъ. Если такихъ въ расходъ выводить, то Республикѣ нашей крышка. Люблю товарища Рыкова. Хорошій товарищъ.»

Перемѣнилъ тонъ. Сталъ серьезнымъ, голосъ понизилъ.

«А теперь, по совѣсти скажите, бѣжать то хотѣли? А?»

Было скучно и безразлично.

«Хотѣлъ, такъ кто же не хочетъ. Надоѣла пшенка, селедка, да безтолочь въ работѣ. Сталъ уставать. Хотѣлъ, ну да, хотѣлъ. Но вѣдь были это только слова.»

Налилъ себѣ второй стаканъ чаю. Сервизъ былъ дорогой, Кузнецовскій.

«Пейте, пейте, простите, я хозяинъ плохой.»

Вспомнилъ что то, засмѣялся.

«А Васъ чуть въ расходъ не вывели. Все мамзель Стрепова старалась. Очень молъ отъ него контръ-революціей отдаетъ, да и невѣста

его типичнѣйшая каэрка. Ваше счастье, ваше счастье. Новая политика . . .»

«Такъ подпишете? Пустое, признаю молъ, что хотѣлъ покинуть совѣтскую республику, да были это только проэкты, а вообще раскаиваюсь и согласенъ въ спецахъ остаться.»

Было тяжело, тоскливо, хотѣлось обратно въ камеру. Хотѣлось встать, раскачнуться и ударить до боли этого вертляваго, точно бѣсъ, человѣка.

«Вотъ-съ перо; здѣсь, здѣсь.»

Допросъ былъ оконченъ.

Надо было вставать.

«Послушайте, товарищъ, откуда узнали, что я убѣжать хотѣлъ? Кто донесъ?»

«По дружбѣ — развѣ что? Никому не скажете?

По секрету величайшему.»

Онъ былъ доволенъ сегодня. Изъ Москвы его похвалили.

«Непріятнѣйшее дѣло. Доносецъ. При дѣлѣ вашемъ хранимъ.»

Читать было трудно. Глаза закрывались, усталые, больные.

В П. Чека.

Товарищи,

сообщаю вам, что сего 15-го марта пришлось мне зайти в квартиру гражданина Сергея Маклецова, проживающего на Миллионной в доме

номере 37 и случайно быть свидетелем того, как означенный гражданин подговаривал мою сестру, Нину Хижнякову, убежать из нашей республики. Как он хулил и поносил советское правительство и сообщал, что у него де мол все к от'езду готово. Сестра моя упорно отказывалась подчиниться преступному предложению гражданина Маклецова. Настоящее подтверждаю.

Бывшій политком шестого кавалерійского полка — Борис Хижняков.

Съ боку и сверху крупнымъ, твердымъ почеркомъ было написано:

«Немедленно арестовать. Произвести тщательно обыск и из'ять бумаги. Заключить в Дерябкинскіе Казармы. Х—у благодарность.

Пред. П. Че-ка Н. Стрепова.»

А справа мелкимъ канцелярскимъ почеркомъ было выведено:

«Выдано из сумм особаго отдела товарищу Хижнякову 5 тысяч рублей. Росписка в бухгалтерии.»

. . . .

Къ вечеру у Маклецова поднялась температура, знобило. Съ трудомъ пересиливая себя, написалъ онъ письмо Нинѣ.

Рука дрожала, выводила диковинные буквы и знаки.

Въ камерѣ переполошились. Были всѣ признаки сыпняка.

Камерный староста, высокій, худой, баронъ Корфъ, досиживающій свой десятый мѣсяцъ въ казармахъ, пошелъ будить дежурнаго фельдшера.

Запросили коменданта.

«Немедленно отправить въ Боткинскіе.» «Бредитъ.» — «Пустое, пошлите на грузовикѣ, умирать легче въ больницѣ.»

«Холодно, вѣтеръ острый, застудится.» — «Чего церемониться. Однимъ меньше, однимъ больше, не твоя печаль . . .»

Одѣтый, на носилкахъ лежалъ Маклецовъ въ полутемной камерѣ — въ ожиданіи грузовика.

Вокругъ всѣ спали.

Одни молча, другіе съ тяжелымъ храпомъ, временами вскакивая взволнованные.

«Смѣшная Нина. Журитъ меня за галстухъ. Нарядный очень. Ну, хорошо, переодѣну. Нина, Нина.» Онъ ее позвалъ.

Показалось лицо вертляваго, потомъ его фигура, кожаная куртка, красная звѣзда.

Поглядѣлъ, усмѣхнулся.

«Что, баринъ. Галстухъ потеряли? Ничего въ землѣ не понадобится.»

Вынулъ портсигаръ, золотой, тотъ что всегда носилъ прежде съ собою Сергѣй Федоровичъ, открылъ, взялъ папироску и безцеремонно сѣлъ на грудь къ Сергѣю Федоровичу.

«Нина, Нина,» застоналъ онъ.

Пришла заплаканная. Вертлявый ушелъ.

«Почему Нина плачешь?»

Она покачала головой, а слезы падали прямо на лицо Сергѣя Федоровича.

Горячія, соленыя.

«Не плачь Нина. Поѣдемъ на море.»

Нина плакала.

«Бога потеряла.» — «Бога», онъ удивился. «Нашла Бога. Былъ онъ бѣленькій, чистенькій, такой добрый, добрый. Пошла тебя навѣщать, и не знаю гдѣ его потеряла.»

Все плакала.

. . . .

Распахнулись двери камеры.

На мигъ очнулся Сергѣй Федоровичъ и вновь впалъ въ тяжелое безпамятство.

Яркій свѣтъ желтыхъ фонарей разбудилъ спящихъ. Повскакали съ наръ испуганные.

На разстрѣлъ что ли?

Вошли комендантъ, фельдшеръ, санитары.

«Гдѣ сыпно-тифозный?» — «Здѣсь» — «Куда ночью повезете, умретъ по дорогѣ,» спросилъ кто то робко. «Не ваше дѣло, молчать».

Потащили носилки. Загудѣлъ автомобиль, долго раскачивался и наконецъ тряско подбрасывая лежащаго на нерессорныхъ носилкахъ Сергѣя Федоровича, повезъ его въ Боткинскіе бараки.

Тамъ долго не принимали.

Заспанный докторъ, блѣзненнаго вида, никакъ не могъ дозваться санитаровъ. Нехотя и лѣниво вытащили носилки.

Привезенный былъ безъ сознанія, въ тяжеломъ кошмарномъ бреду.

VIII.

Кира варила кисель.

Сегодня очередная передача и сегодня же двѣ новости, — радостныя, переданныя по телефону.

Звонилъ врачъ Боткинскихъ бараковъ.

«Брату немного легче, пришелъ въ сознаніе, проситъ принести аспиринъ и что нибудь поѣсть. Кислаго и легкаго.»

Другая новость — еще неожиданнѣе.

Коммунистъ-комиссаръ фабричнаго правленія сообщилъ, что ордеръ на освобожденіе подписанъ.

«Досадно, что заболѣлъ. Ордеръ пересланъ въ больницу.»

Кира пѣла. Веселая хохотушка и говорунья, она шла черезъ жизнь, не задумываясь о дорожкахъ непроторенныхъ и тропинкахъ забытыхъ.

Пѣла она частушку, гдѣ то ею подслушанную.

«Кушай, милый, пирожки, это не галушки,
Я Керенскаго люблю, потому онъ душка.»

Она остановилась, засмѣялась контръ-революціонности стишка и запѣла дальше.

«Сидитъ парень на заборѣ —
съ революціей во взорѣ.
Сидитъ парень на крыльцѣ —
съ выраженіемъ на лицѣ.

Я не долго думала — подошла да плюнула.
Думала, подумала . . .»

Вошла Нина.

Устало бросила портфель, полный книгъ.
Устало сѣла въ кресло.

«Знаешь, Ниночка, Сережу выпустятъ, ему лучше.»

Нина безучастно слушала.

Чужая, далекая.

«Пойдешь въ больницу? Понесемъ передачу.»

«Пойду, пойдемъ. Но нести ничего не надо. Не къ чему.»

«Какъ же не къ чему», всполошилась Кира.

«Такъ, знаю я!» устало и упрямо повторяла Нина.

«Ахъ, это твоя интуциія», съ досадою замѣтила Кира. «Испортилъ тебя отецъ Григорій. Чувствую . . . чую . . . все это фантазія.»

Онѣ шли быстро по Старо-Невскому проспекту. Нина бѣжала, точно преслѣдуемая какой то неотвязчивой мыслью.

Безпокойство Нины передалось и Кирѣ. Она перестала говорить. И только заботливо поправляла кулекъ, въ которомъ была передача: кисель, настоящій клюквенный кисель, два апельсина и аспиринъ.

У дверей Боткинской больницы Нина остановилась въ нерѣшительности. Потомъ рѣзко толкнула желѣзную дверь и побѣжала по знакомой аллеѣ въ пріемную.

Здѣсь имъ пришлось ждать довольно долго.

Наконецъ пришелъ дежурный фельдшеръ, типа ротныхъ фельдшеровъ, грубый и жесткій.

«Вамъ кого?»

«Больного Сергѣя Маклецова.»

«А, знаю. Идемте. Онъ тамъ.»

И онъ показалъ въ окно на небольшой деревянный домикъ, обитый тесомъ.

«Сергѣй тамъ?» изумилась Кира. Но послушно пошла вмѣстѣ съ Ниной за фельдшеромъ. Подошли къ домику.

«Входите.»

Вошла первая Нина.

. . . .

Полумракъ. Тяжелый, удушливый воздухъ.

На полу, у самой двери, лежалъ голый

трупъ. Лицо непримѣтное на половину было покрыто кровью.

На полкахъ, справа и слѣво лежало въ различныхъ позахъ еще нѣсколько труповъ, также раздѣтыхъ, мужскихъ и женскихъ.

Осторожно обходя трупъ, Нина направилась къ другой двери, противоположной къ двери.

«Навѣрное Сергѣй тамъ, но странно почему онъ въ этомъ домѣ? Почему именно здѣсь мы его ищемъ.»

«Куда, барышня. Вотъ онъ.»

И фельдшеръ спокойно и вяло потянулъ Нину за рукавъ, остановилъ ее и показалъ рукой на трупъ, лежащій у дверей.

«Вотъ-съ господинъ Маклецовъ, вчера еще живого сюда выбросили, все равно умирать долженъ былъ.»

«Сергѣй . . . это Сергѣй . . .»

Вошла Кира, отставшая . . .

Вошла и увидѣвъ обезображенный трупъ, знакомыя черты лица, родныя, бросилась къ нему съ плачемъ.

Нина стояла неподвижно, опершись спиною на полку.

Рука одного изъ труповъ больно давила ей спину.

Упорно повторялось: «Больно, больно. Сергѣй . . . это Сергѣй.»

. . . .

Пришла дежурная сестра, молодая и милая дѣвушка. Она помогла Кирѣ и фельдшеру омыть тѣло Сергѣя.

Нашли его вещи, бѣлье.

«Почему лицо въ красныхъ пятнахъ? Точно били.»

«Ахъ, знаете, столько умираетъ отъ сыпняка ежедневно. Иной еще дышетъ; будь камфара, можно бы спасти. Нѣтъ, конечно, не били. Но умирающаго вѣроятно не несли, а тащили въ покойницкую по землѣ. Волокутъ небрежно. Да, это ужасъ. Иногда еще живыхъ сюда приносятъ.»

Пришла другая сестра. Дежурила днемъ при больномъ.

«Днемъ, вѣрнѣе утромъ, ему было лучше. Улыбался, просилъ сообщить Вамъ, сестрѣ его, принести передачу. Позже стало хуже и хуже. Все бредилъ и бредилъ. О солнцѣ мечталъ. Нину звалъ. А къ вечеру и вовсе затихъ.

«Да только видимо чувствовалъ... смерть свою. Когда просилъ утромъ Вамъ позвонить, то прибавилъ: успокоить ихъ надо, волнуются. И такъ впереди много горя — безъ меня узнаютъ.»

Кира заплакала.

Нина подошла къ окну.

Ранній лѣтній солнечный день.

Деревья яркія, веселыя.

«Почему я не плачу. Хоть бы заплакать. Было бы легче.»

Было тяжело, нудно, и безразлично.

Подошла къ Сергѣю. Съ тупымъ любопытствомъ, далекимъ и ей самой непонятнымъ глядѣла на изуродованный трупъ.

«Любила вѣдь и люблю . . . Люблю ли?

Слезъ нѣтъ и только пустота давящая.»

. . . .

Старшій врачъ соболѣзнующе жаловался.

«Въ другихъ бы условіяхъ мы бы его спасли, а здѣсь нѣтъ лѣкарствъ . . . Проклятая жизнь. И вѣдь вотъ подите, насмѣялась судьба. Ордеръ на освобожденіе прибылъ сегодня изъ Че-Ка. Да, судьба его сама освободила. Проклятая жизнь.»

Молодая сестра милосердія украдкой вытирала свои заплаканные глаза.

. . . .

Возвращались медленно.

Ноги усталыя отказывались идти. И нѣсколько разъ Кира останавливалась, чтобы присѣсть отдохнуть.

«Такой сильный, смѣлый, здоровый! Какъ любилъ онъ жизнь, Нина. Говорилъ ли онъ тебѣ, а мнѣ часто; въ солнечный день, откроетъ бывало окно — вдали видна Нева — и кричитъ, именно кричитъ мнѣ: Кира, Кирочка, хороша вѣдь жизнь. Люби ее.

И смѣшно, нелѣпо. Вѣдь онъ самъ почти не жилъ. Несчастный бракъ; онъ готовилъ свое счастье на завтра.»

Нина молчала.

Да ихъ счастье, ихъ жизнь была — завтра. Такъ говорилъ онъ. Сколько разъ Сергѣй, взволнованный, подходилъ къ ней, желая ея близости. Она только смѣялась. Ласка ей непонятна. Смѣшны и томленія женщинъ по ласкѣ. Любовь. Для нея любовь была — дружба ясная, разумная.

Страсть, безуміе, желаніе ласки—это было не для нея.

Правда, разъ, одинъ только разъ. Очень давно. Или нѣтъ, въ прошломъ году, весною, въ бѣлый вечеръ она пришла къ нему. «Поговорить, поспорить.» Сидѣли тихо. Бѣлое небо было лукаво волнующе.

Сергѣй схватилъ ея руки, сталъ ихъ цѣловать . . .

На минутку, тончайшую, на секундочку — безумная, дикая, чисто лѣсная буря ее охватила. Сдержалась, поборола.

Отдернула руки. Засмѣялась.

«Или Да, или Нѣтъ.

Но смѣси черныхъ и бѣлыхъ штриховъ я не хочу.»

«Вы, Нина, женщина завтрашняго дня.»

Онъ смѣялся надъ ней, сердился.

А она вторила ему: «Я — это Я.»

Кира плакала, всхлипывая по дѣтски:

«Осталась одна, совсѣмъ одна.»

«Полно, Кира. Ты вѣдь сестра моя. Роднѣе сестры.»

. . . .

Онѣ подошли къ старой часовнѣ — маленькой церкви.

Послѣ всенощной здѣсь собирались со всего Петрограда—«скорбящіе». Въ темнотѣ почти полной, старый престарый священникъ голосомъ дряхлымъ, еле слышнымъ, читалъ молитвы.

Простыя, безхитростныя.

Иногда онъ терялъ слова, забывалъ окончаніе, и отъ этого молитва его выходила трогательнѣе и проникновеннѣе.

Онъ молился объ убіенныхъ и усопшихъ.

Въ густой толпѣ преклоненныхъ людей, не переставая, раздавались глухія рыданія.

Онѣ встали въ углу, сзади всѣхъ.

Кира молилась.

Нина безучастно слушала далекія и чуждыя ей слова молитвы. Она не умѣла молиться. Давно разучилась.

Дряхлый, дребежащій голосъ стараго священника ее раздражалъ своей слабостью и безпомощностью.

«Плакательщицы. Имъ нужно утѣшеніе, чтобы кто нибудь погладилъ по головкѣ. Горе. А у меня нѣтъ горя. Только пустота!»

Кира плакала.

. . . .

На Невскомъ ихъ окружила группа матросовъ.

Пьяные, молодые, они съ хохотомъ безцеремонно начали звать дѣвушекъ на балъ Балтфлота.

Съ трудомъ дѣвушкамъ удалось уйти отъ веселившихся матросовъ, скрывшись въ подъѣздѣ одного изъ домовъ.

IX.

Мать шила, ожидая Нину.

Самоваръ полуостывшій стоялъ на столѣ.

Борисъ сидѣлъ, зѣвая курилъ. И изрѣдка отвѣчалъ лѣниво на вопросы матери.

Бѣлый вечеръ властно заполнялъ комнату, разсыпаясь множествомъ пятенъ.

Онѣ вошли молча.

Нина ушла въ свою комнату.

Кира, рыдая, захлебываясь, разсказала матери о смерти Сергѣя Федоровича.

Та тоже заплакала. Мелко, по старушечьи. Ей было жалко дочери.

Раздался звонокъ.

Солдатъ, чисто одѣтый, со сломанной красной звѣздой вмѣсто кокарды, вызвалъ Нину.

Она вышла.

«Вотъ-съ, таинственно зашепталъ онъ. Господинъ Маклецовъ велѣлъ собственноручно передать Вамъ письмецо.»

«Отъ Сергѣя... Сергѣя Федоровича?»

«Они-съ самые. Заболѣли и ихъ перевели теперь въ больницу. Передъ переводомъ мнѣ письмо передали.»

. . . .

Письмо отъ Сергѣя...

Простая бумажка, нескладно свернутая.

Слова неразборчивыя, слитныя.

«Милая Нина.

«Былъ сегодня на допросѣ въ Че-Ка. Онъ вертѣлся и допрашивалъ. Угощалъ чаемъ. И это было смѣшно и больно. Обѣщалъ завтра выпустить, да только все смѣялся, иногда казался чертомъ.

«Два дня болитъ голова. Пришли пирамидона, а передачи я не ѣмъ, отдаю на камеру. Славные ребята.

«Да, этотъ предсѣдатель показалъ доносъ, подписанный братомъ твоимъ Борисомъ. Уѣзжать, молъ, хотѣлъ, да сестрицу мою подговаривалъ.

«Со злости. Денегъ просилъ, я не далъ, а Че-Ка дала.

«Благословитъ тебя Господь.

«Сейчасъ мнѣ очень не можется.

С.»

Подписи не было. Такъ и стояло — С и точка.

. . . .

«Предатель! Онъ, Борисъ! Разумъ! Къ черту разумъ!»

Волна безумнаго, животнаго гнѣва охватила Нину.

Поблѣднѣла. Вся точно изогнулась. — Хищный звѣрь.

«Ты донесъ? Ты?»

Борисъ, усмѣхаясь, замѣтилъ.

«Ну да, я.»

Потушилъ папиросу въ блюдечкѣ.

«Онъ самъ виноватъ.»

«Ты? . . .» Она бросилась на него и тяжело ударила по лицу. Онъ схватилъ ея руку, пытаясь защищаться.

Руками, словно выросшими и окрѣпшими, пріобрѣтшими силу необыкновенную, она повалила его на полъ, въ припадкѣ все возрастающаго гнѣва душила его, повторяя: «Ты? Ты? Ты?»

Борисъ сталъ хрипѣть, теряя сознаніе.

Мать и Кира бросились къ Нинѣ, отнимая ея руки. Обѣ онѣ плакали, испуганныя.

Гнѣвъ прошелъ.

Нина поднялась и, ни на кого не глядя, прошла въ свою комнату.

Кира побѣжала за ней.

. . . .

А въ столовой мать мокрымъ полотенцемъ вытирала лицо своему сыну, постепенно приходившему въ сознаніе.

И мягко, не то упрекая, не то извиняя, шептала:

«И какъ же можно, Боричка. И какъ же такъ можно, милый Боричка.»

Брюссель. Апрѣль 1922 г.

НА ІОХАНКѢ

На Іоханкѣ

Надъ нами чайки кружились. Боролись съ вѣтромъ, съ неистовымъ. Холоднымъ и рѣзкимъ.

Среди чаекъ, одна дико кричала. И ниже другихъ кружилась, маячила надъ кормою пароходной.

«Больная?»

«Обиженная?»

«Развѣ чайки болѣютъ?»

Смѣется матросъ съ круглымъ, дѣтскимъ, наивнымъ лицомъ.

«Чайки, перебилъ старый шкиперъ, чайки —онѣ людей охраняютъ, душу людей берегутъ. Въ прошломъ году, помнишь, кричали какъ чайки? Не всѣ. Лишь нѣкоторыя. А на утро нашли капитана умершимъ. Чайки. Молодъ еще, мало горя, видно, видалъ.»

. . . .

Чайка кричала. И ей отвѣчалъ неистовый вѣтеръ. Завывалъ въ трубахъ. Врывался въ

каюты. Качалъ нашъ ледоколъ, неуклюжій, широкій, облѣпленный глыбами бѣломорскаго льда и крѣпкаго снѣга.

Мы медленно шли. Огибая узкій мысокъ. Голый и сѣрый.

Круглая бухта.

Іоханка.

Всюду голыя скалы. Сѣрыя. Грязныя. Безъ тѣни деревьевъ. Безъ слѣда человѣческой жизни.

Вѣтеръ вздымалъ тучи снѣжной пыли, которая дикимъ смерчемъ неслась по скаламъ. Спускалась къ водѣ, разносилась по встревоженной вѣтромъ Іоханской бухтѣ.

«Въ ущельѣ — тамъ, десятокъ деревянныхъ бараковъ, дырявыхъ. Наскоро сбитыхъ. Въ нихъ жили люди. Живутъ и теперь тѣ, кто не умеръ», шепчетъ третій помощникъ. Боится, мы — бѣлые.

«Вамъ плохо придется. Мужайтесь. Вѣдь люди здѣсь обозленные, измученные. Одно слово — Іоханцы. Недавно еще было въ ущельѣ пусто и тихо. Только тюлени весною къ берегамъ подплывали, да изрѣдка въ бурю чайки кружились надъ мысомъ. Этой бухты боялись. Проклятое мѣсто. Гиблое. Кругомъ по землѣ на десятки верстъ нѣтъ жилья. Ни дорогъ, ни путей. Сверху рѣшили иное: взяли и прислали людей. Говорятъ — коммунистовъ, да больше — рабочіе разные. Прислали, а

жить негдѣ, жилья нѣтъ. Сами построили. Нечего ѣсть. Голодали. Болѣли. Много ихъ за зиму померло. А теперь—убѣжали бѣлые—іоханцы взяли власть въ свои руки. Арестовали начальство. Избрали совѣтъ. Ждутъ парохода, чтобы уѣхать. Нашъ ледоколъ — первый».

Въ нашей каютѣ неудобно и грязно. Заплеванный полъ. Сѣрыя стѣны. Запахъ тяжелый и нудный.

«Отъ пристани катеръ отчалилъ.»

Виковъ, мой спутникъ, смотритъ въ окно, круглое, полузамерзшее.

«Ѣдетъ сюда. Съ краснымъ флагомъ.»

«Скоро конецъ.»

«Боитесь, признайтесь?»

Онъ недовольно молчитъ.

«Ну, боюсь. Ну и что же.»

«А на фронтѣ почему не боялись?»

«И на фронтѣ боялся. Иначе. Не душой, а тѣломъ. Душа тамъ молчала.»

«Подъѣзжаютъ. Смотрите на катеръ. Человѣкъ пятьдесятъ. Съ оружьемъ. Насъ будутъ брать.»

«Перестаньте смотрѣть. Отвѣтьте мнѣ лучше. Если бы скала была солнцемъ обвита и вмѣсто этихъ сѣрыхъ тяжелыхъ, надоѣдливыхъ тучъ синее небо смѣялось надъ нами, вамъ было бы легче умирать?»

«Отстаньте. Мнѣ не до шутокъ. Они будутъ насъ бить. Вы знете, ихъ здѣсь били до крови... Подъѣхали...»

А мнѣ всегда хотѣлось умереть въ яркій солнечный день. Отчетливо яркій.

И душу свою...

. . . .

«Выходи.»

«Все бѣлые? Ишь, во френчахъ.»

Ихъ много. Двадцать—тридцать. Лица сердитыя. Банты красные.

«Скорѣй, пошевеливайся.»

«Ведите въ Совѣтъ. Тамъ обыскать. Допросить.»

«Ишь, поймались. Не успѣли убѣжать! Застряли во льдахъ!»

«Молчите, товарищи. Выдержка. Ведите въ Совѣтъ. Тамъ разберемъ.»

Катеръ качается, треплется, захлестываемый мелкой, холодной водой. Снѣжная пыль, вѣтромъ съ берега поднятая, щиплетъ лицо.

Нестерпимо, до слезъ, холодно. Хочется спрятаться внизъ, укрыться, согрѣться.

«Эй, тамъ, стой на виду.»

А надъ катеромъ, точно сына оплакивая, чайка маячитъ, громко крича.

Чайка кричитъ. Прежняя? Новая?

. . . .

Пристань.

Вмѣсто пристани барка полуразбитая, дряхлая. Сходни скользкія, узкія. Идешь, а внизу сердито глядитъ на тебя бездонность морская.

Мы идемъ по дорогѣ укрытой снѣгомъ. Крѣпкимъ. Сухимъ. Справа да слѣва голыя скалы. Мѣстами вѣтромъ земля обнаженная, голая— словно пасть хищная.

«Жадная Іоханка. Видите тотъ выступъ въ скалѣ?»

«Вижу, скала, какъ скала.»

«Скала, точно пропасть. Съ лицомъ злымъ, перекошеннымъ.»

«Чепуха. Вамъ мерещится въ снѣжныхъ сумеркахъ.»

Вѣтеръ мечется. Рветъ, кусаетъ холодную землю. Снѣжныя тучи сливаются, кружатся съ сѣрыми тучами, свинцовыми.

. . . .

Группа крестовъ. Деревянныхъ и жалкихъ.

Два изъ нихъ надломились. И надломленные къ своимъ братьямъ, словно уставъ, прислонились.

«Кресты?»

«Да, да, кресты», сердито бурчитъ начальникъ конвойной команды.

«Да, да, кресты. Были люди, наши товарищи. Іоханцы. Отъ голоду померли, отъ цынги, отъ здѣшней земли. Спасибо вамъ, бѣлой сво-

лочи. Вамъ, вамъ... Самъ землю имъ рылъ. Земля то поганая. Людей не беретъ. Ненавидитъ ихъ. Долбишь, долбишь ее день-деньской, а могилы не выроешь. «Ну», крикнулъ онъ на насъ, «быстро идти!»

. . . .

Мы вошли въ деревянный баракъ.

Въ комнатѣ широкой и низкой, за деревяннымъ столомъ сгрудились массами черными люди.

На столѣ—бумаги разбросанныя. Газеты. Окурки папиросъ, корки хлѣба, два револьвера, гранаты.

Люди смѣются, веселые, шумливые.

«А, привели! бѣлые!»

«Бѣлогвардейцы!»

«Попались!»

«Тише, товарищи. Стыдитесь. Члены Совѣта тоже!!»

«Чего тамъ стыдиться. Годъ цѣлый словно псовъ на цѣпи насъ держали. Били, морили голодомъ. Теперь — шалишь. Праздникъ на нашей улицѣ. Чего тамъ стыдиться!»

«Подождите, миляги.» Рыжій, лохматый, небольшой человѣкъ машетъ нескладно руками. «Подождите, миляги. Надо по совѣсти. Допросить. Разузнать. Кто, что, почему. Почему, значитъ.»

И успокоительно, ласково, словно братъ брату, киваетъ намъ головой.

«Полно, Трифоновъ,» перебилъ его, рѣзко и сердито, худой, съ впалыми щеками черный коммунистъ. Тотъ, что пріѣзжалъ брать насъ съ «Русанова». «Нечего разговоры разговаривать. Съ нами не церемонились. Вспомни только, кого разстрѣливали здѣсь пулеметами, кто умиралъ отъ цынги, кого собака Судаковъ дубасилъ своей палкой.»

«Не расхаживайся, Новиковъ, оно не къ чему. Отъ злого сердца добра не будетъ. Виноваты они — я первый перечить не буду,» и снова ласково, по отцовски, на насъ поглядѣлъ.

«Сперва допросить.»

«Не къ чему. Завтра всѣмъ ѣхать на Мурманскъ. Нѣтъ времени хороводиться.»

. . . .

Шумъ. Гамъ. Въ углу двое кричатъ одинъ на другого. Словъ не слышно, но видно—много надрыва, много боли у нихъ накопилось.

«Папироску, устали небось.» Молодой парень, въ пенсне, криво сидящемъ на курносомъ носу, по виду интеллигентъ — учитель, суетъ намъ папиросы.

«Ничего, обойдется. Не бойтесь. Обозлены мы больно. Годъ цѣлый въ каторгѣ Іоханской жили. Хуже Сибирской. Вѣдь вотъ я, какой тамъ большевикъ! Меньшевикъ архангельскій, Цейтлинъ, слыхали быть можетъ. Меня Миллеръ взялъ да послалъ сюда въ эту Богомъ

проклятую яму. Умираю. Зубы всѣ повыпали. Ноги опухли. А еще я здоровѣе другихъ.

Вотъ Трифоновъ, у него ноги всѣ въ черныхъ пятнахъ, ни стоять, ни лежать.»

. . . .

«Обыскать... Обыскать...»

«Раздѣвайтесь скорѣй.»

Грубо, назойливо Новиковъ шаритъ по карманамъ, въ подкладкѣ.

«Ишь сколько денегъ. И царскія, и даже французскія...»

«Отобрать, товарищи. Пусть сосчитаютъ. Отдать предсѣдателю. Пусть деньги онъ возьметъ. Будутъ въ сохранности.»

«Документы? Что написано? . . .»

«Пишутъ . . . А этотъ вотъ во френчѣ, офицеръ, капитанъ, Виковымъ звать, штоли, тебя?»

«Ну, да, Виковъ,» устало, сердито бросилъ мой спутникъ.

«А ты — изъ какихъ будешь?»

Я молчу. И молча курю.

«Тебя спрашиваютъ?»

«Я привыкъ, чтобы со мною говорили на Вы . . .»

«Ишь какой, это время прошло!»

«Тише, товарищи, тише, надо по совѣсти.»

«И въ царское время, когда въ тюрьмахъ царскихъ сидѣлъ, я требовалъ, чтобы со мною были корректны.»

«Ну, довольно, чего тамъ балясы точить. Дѣло ясное.»

«Нѣтъ, не ясное, надо запросить комиссара въ Архангельскѣ.»

«Буря мѣшаетъ съ нимъ по проводу говорить.»

«Подождать.»

«Не къ чему!!»

«Товарищи, надо по Божески.»

«Берите еще папироску,» — суетъ незамѣтно, чтобы другіе не видѣли, молодой меньшевикъ.

. . . .

Вѣтеръ дулъ по прежнему. Съ бѣшенствомъ. Со злобой. Точно силился сорвать снѣжно-сѣрый покровъ земли. И когда ему удавалось поднять тучу крупно-мелкой ледяной пыли, со стономъ довольнымъ, смѣющимся уносился онъ внизъ къ бухтѣ.

Насъ свели въ ущелье. Плоское, слегка извитое. Справа и слѣва дороги полузащищенные скалами нѣсколько домовъ, неясно замѣтныхъ въ темнотѣ, быстро надвигающейся. Съ огнями оконными, блѣдными и слабыми. Тоскливо, тяжело, точно завороженныя жертвы змѣи ненасытной, жадной, змѣи хищной, шли мы къ этимъ домамъ — огонькамъ.

Шли мы съ медленностью обреченныхъ, обреченныхъ на ужасъ грядущаго. Еще не виданный.

Смерть. . . ! !

Но къ смерти мысли наши привыкли, и нервы настороженные спокойно ее принимали.

Больнѣе смерти . . .

Ненужныя фразы.

Пожимая плечами, недовольно и зябко, мой спутникъ говоритъ:

«Холодно какъ то. Жутко.»

Мнѣ хочется крикнуть ему, закричать въ припадкѣ гнѣва и злости:

«И мнѣ . . . тоже. Молчите! Молчите!»

. . . .

Мы подходили къ домикамъ.

И намъ навстрѣчу, глухо рыча, подвывая разозленному вѣтру, неслась лавина людей.

«Бѣлые?»

«Бѣлые!»

«Здѣсь?»

«Гдѣ?»

«Ведутъ?»

«Бей ихъ, бей! Проклятые бѣлые!»

Насъ окружили тѣснымъ кольцомъ, пытаясь разорвать цѣпь, упрямую и твердую, изъ нашихъ часовыхъ.

«Отойдите, товарищи.»

«Успокойтесь.»

«Все равно завтра будутъ разстрѣляны. Успокойтесь, товарищи . . .»

«Отдайте ихъ намъ.»

«Гдѣ Дечинъ?»

«Гдѣ предсѣдатель?»

«Дайте ихъ намъ.»

А изъ домовъ, изъ домиковъ, подобно толстымъ змѣямъ, подобно лѣснымъ ящерамъ, ползли все новые и новые люди. Съ ногами опухшими, бревнамъ подобными. И въ гнѣвѣ безумія тянулись къ намъ руки, обезображенныя, безъ пальцевъ, въ тряпки завернутыя.

«Дайте ихъ намъ!»

«Гдѣ они проклятые, изувѣры, мучители?»

И рты беззубые, зараженные, плевали на насъ...

На насъ, молчаливыхъ.

И чѣмъ ближе къ домамъ мы подходили, тѣмъ безпомощнѣе и обреченнѣе казались мы сами себѣ.

Дома, домики, теперь совсѣмъ близко, со множествомъ глазъ — огоньковъ, обнесенные проволокой, толстой, колючей.

Стало проще—изъ будущаго рождалось настоящее. Страхъ прошелъ: вѣдь страшно только грядущее, неизвѣстное. Всегда, почти всегда.

. . . .

Мы сидимъ въ караулкѣ.

Наша камера — комната сырая, холодная, безъ скамей и безъ столовъ. Окно высоко расположенное, въ рѣшеткѣ толстой и частой.

Сидимъ на полу въ темнотѣ, прижавшись другъ къ другу. Рядомъ въ сосѣдней комнатѣ — караулъ. Три солдата, болтливыхъ и шумливыхъ. Мы устали. Хочется спать. Только спать. Вѣтеръ воетъ, шумитъ. Стучитъ въ окошко, снѣгомъ покрытое. .

. . . .

«Старшой наказывалъ: караульте по ладному, скоро молъ придутъ, будутъ ихъ брать.»

Зѣваетъ, широко и сладко.

«Эхъ-ма, скорѣй бы оно въ Мурманскъ. Въ деревню что-ли. Жену повидать. Скушно.»

Снова зѣваетъ.

. . . .

Виковъ дремлетъ. И сквозь сонъ шепчетъ что то неясное...

«Братъ... Сестра...»

Нелѣпость. Случай. Почему братъ? Почему сестра? Мы любимъ привычки, схожесть вчера и сегодня.

Братъ, сестра. Далеки мнѣ они, невидны, неясны.

Сейчасъ — только Я. Одинъ Я.

Вѣтеръ несносенъ. Упорно, настойчиво стучитъ въ крышу, желѣзомъ покрытую. Въ печку шепчетъ слова.

Хочетъ меня успокоить. Это ненужно. Некстати.

Карта бита... именно карта жизни.

Жаль одного: холодно, снѣжно... Земля скалистая, мерзлая, твердая.

. . . .

«А ты, Василій, видалъ, чай, на этомъ бѣломъ френчъ то хорошій, аглицкій, и сапоги хоть куда. Хорошо бы, да въ энтакомъ френчѣ, да въ деревню бы пріѣхать.»

«Дуракъ, какъ погляжу я на тебя, Петра, такъ тебѣ и позволили френчъ снять. Извѣстно дѣло. Кто будетъ разстрѣливать, тому и добыча, а твое дѣло сбоку — припека.»

«Оно конечно, да я что. Къ слову пришлося. Дай-ко прикурить.»

. . . .

Виковъ стонетъ во снѣ. Успокойся, дружище, скоро, скоро будетъ совсѣмъ хорошо.

Только подъемъ. Подъемъ... Переходъ.

Это было очень давно. Былъ я студентомъ, юннымъ и яснымъ. И понявъ жизнь — по своему, по широкому, не принялъ ея.

Солнце, безумное южное солнце, землю сжигающее желаніемъ своимъ, было свидѣтелемъ покорнымъ моего ухода. Это было легко. Я шелъ словно на праздникъ, словно на радость любви. И уходя, солнцу смѣялся.

Я не ушелъ... Было это глупо, по дѣтски. Случай.

А теперь...

Гдѣ то воетъ собака, протяжно и нудно.

Гдѣ то слышны шаги. За нами? За мной?

Жаль что темно, что холодно. Хочется солнца.

Ха-ха, солнца! Нелѣпый чудакъ. Не все ли равно — солнце, луна, вѣтеръ, снѣгъ, море, братъ, сестра, или больной большевикъ...

Все точки, изъ коихъ сплетенъ мостъ перехода.

Не все ли равно?

Карта вѣдь бита...

. . . .

«А жалко оно все же, говоря по совѣсти, этихъ людей. Жили бы они, да жили. Намъ то что.»

«Дуракъ ты, Петра, тебѣ говорю.»

«А ты не ругайся.»

«Какъ есть дуракъ. То заришься на френчъ ихній, а то и вовсе разжалобился. Извѣстное дѣло — бѣлые, потому оно и смерть.»

«Да я то что. Такъ, къ слову пришлося.»

. . . .

Все громче и злѣе вѣтеръ стучитъ. Назойливо. Собака ему гдѣ то вдали вторитъ, жалобно тоскуя.

Два, три, быть можетъ, пять часовъ еще впереди. И затѣмъ Я — больше «Не Я.»

«Я» — болѣе «Не Я.»

Нѣтъ, это нелѣпо. Даже не страшно, не жутко, а просто нелѣпо.

Преодолѣніе смерти. Поставятъ къ столбу. Къ столбу... И знаю я, въ ужасѣ протеста

поднимется мое тѣло. Все тѣло, каждый нервъ и каждая клѣтка — во имя Жизни.

Но душа... сознаніе... Ей-ему будетъ нелѣпо.

«Я» — больше «Не — Я.»

Они будутъ стрѣлять. Маленькіе, круглые куски стали. Какъ спокойно привычно относился я къ этимъ «круглымъ судьбамъ» на фронтѣ... ибо тамъ было — Авось. Можетъ быть. Подобно карнизу, падающему быть можетъ на голову. Да, мы любимъ «Авось»...

Нервы рады ему.

Но два равно два — круглое, твердое и назойливое оно смѣется надо мною, надъ моими нервами. Ибо оно знаетъ, что «Да» есть да.

Сидя въ тюрьмѣ, въ первые мѣсяцы большевизма, видѣлъ я смертниковъ. Многихъ и разныхъ. Всегда удивлялся различію ихъ послѣднихъ шаговъ. Одни, плача, тянулись, умоляли тюремщиковъ. Страхъ безумный ими владѣлъ. Власть ихъ клѣтокъ. Другіе пассивны, точно во снѣ, подобно баранамъ. Ихъ клѣтки устали, дремали. Третьи боролись и погибали въ активной борьбѣ.

Были и сильные. Эти слегка усмѣхались. Усмѣхались — чему?

Еще два... три... четыре часа. Только два, только три, только четыре...

Четыре часа. А затѣмъ... Говорятъ надо не думать. Спать. Ѣсть. Бѣгать. Но это безволіе, это слабость, это прятки съ самимъ собою.

Я всегда любилъ смерть. Ближе и роднѣе женщинъ и друзей мнѣ она была. Мы боимся — не зная...

«Возлюби ее и будетъ тебѣ она дороже жизни.» Или въ этомъ правда поверхностная? Правда не продуманная?

Еще два... Довольно. Этотъ счетъ жизни нелѣпъ и ненуженъ. А можетъ быть есть во мнѣ «усталый страхъ.»

Нѣтъ, нѣтъ, только не то. Только не страхъ. Только не власть жалкихъ клѣтокъ—нервовъ.

Смѣшно...

А Виковъ спитъ. И во снѣ больше не стонетъ. Для него разстрѣлъ это — атака безъ «Авось». Смерть навѣрняка.

Холодно. Мерзко. Начинаетъ знобить. Слышны шаги у дверей выходныхъ.

Къ намъ...

«Виковъ, проснись.»

. . . .

Дверь отворилась.

И, широко улыбаясь, вошелъ въ нашу комнату-камеру рыжій бородатый солдатъ.

Тотъ, вечерній, членъ Іоханскаго Совѣта — Трифоновъ.

«Ну, вотъ, миляги, разрѣшили въ Совѣтѣ. Выхлопоталъ, хлѣба принесъ, да кружекъ. Бу-

дете пить чай, штоли? Ну и холодно здѣсь. Холодно?»

«Да, холодно, истопить бы.»

«Въ моментъ истопимъ. Эй, караульный, растопи-ка печурку. Да получше, дровъ не жалѣй. Ну вотъ, миляги, и веселѣй стало? Не такъ ли?»

Я улыбнулся. Виковъ молчалъ, недовольный съ просонья.

«Спасибо, дядя. А то тоскливо было въ темнотѣ да холодѣ смерть ожидать.»

«Ну, ну, миляги, не волнуйтесь, Богъ дастъ образуется.»

«Образуется?» переспросилъ Виковъ. «А когда насъ поведутъ?»

«Не скоро. Не скоро еще. Сейчасъ поди только вечеръ. Ну, а раньше утра—ни, ни». И засуетившись, точно тронули у него больное мѣсто, онъ нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ.

«Не скоро, не скоро...», раздраженно бросилъ Виковъ. «Не скоро, говорите, черезъ нѣсколько часовъ, къ утру?»

«А боязно?» широко улыбаясь повернулся ко мнѣ Трифоновъ. «А боязно небось?»

«Стало теплѣе — стало лучше. Менѣе боязно.»

«Ну вотъ, ну вотъ», зашепталъ Трифоновъ. «Ну вотъ и слава Богу, а тамъ, авось, какъ нибудь образуется.»

«Образуется, образуется», грустно повторилъ Виковъ.

«Прощайте, братцы.»

Дверь за нимъ затворилась.

. . . .

Мы остались одни. Въ комнатѣ потеплѣло отъ печки, караульнымъ растопленной. Отъ отблеска горящихъ углей на стѣнахъ силуэты колеблющіеся сердили монотонность мрачную заплѣснѣвшихъ стѣнъ.

Сердили, смѣялись надъ ними.

Было тихо. Вѣтеръ стихалъ. Солдаты, уставъ отъ разговоровъ безцѣльныхъ, спали.

«Мнѣ чудился запахъ ладана и еловыхъ вѣтвей», грѣя руки у печки, неожиданно сказалъ Виковъ. «Вы меня разбудили, прервавъ странный сонъ. Будто бы я былъ въ церкви, деревянной и небольшой. Много свѣчей; всюду разбросаны вѣтви еловыя. Посреди церкви гробъ. Лица умершаго мнѣ не видно. Хочется подойти, поглядѣть. Много людей, всѣ въ бѣломъ, въ рукахъ держатъ свѣчи, толстыя, большія. Кого отпѣваютъ, спросилъ я робко одного изъ сосѣдей. «Капитана Викова, умершаго смертью храбрыхъ за вѣру православную.» И стало мнѣ тогда на душѣ по особенному хорошо и спокойно. Словно сошла на меня благодать. Я опустился на колѣни, заплакалъ. Сталъ молиться . . . Вы меня разбудили . . .»

«Вы вѣрующій Виковъ?»

«Да», твердо отвѣтилъ онъ. «Въ юности своей пробовалъ даже постригаться въ монахи, да не нашелъ у нихъ отвѣта на мои вопросы. Я люблю жизнь. Жизнь въ движеніи, въ радости. И вѣра моя радостная, дѣятельная. Вѣра отъ земли.»

«Такъ Вамъ легко будетъ умирать завтра?»

«Легко? О! Нѣтъ правды въ мысли, что безразличны къ смерти тѣ, кто вѣруетъ. Это отвлеченность людей не умиравшихъ... Умирать будетъ тяжело. Ибо тѣло мое не хочетъ смерти. Бунтуетъ противъ нея. А вѣра? Она спасаетъ только отъ безумія души.

«Нѣтъ, нѣтъ, умирать будетъ тяжело.

«Уже тяжело. Сколько разъ во время войны на фронтѣ побѣждалъ я страхъ свой передъ смертью вѣрой своею въ Бога!»

Печка потухла. Угольки, еще красные, тлѣли неровно и слабо. Огонь иногда вспыхивалъ, испуганно, раздуваемый затихающимъ вѣтромъ.

Кругомъ было тихо.

Мы заснули.

. . . .

Мы стоимъ у скалы. Отвѣсной. Бѣлой отъ снѣжнаго льда. Впереди насъ полукругомъ замкнутымъ стоитъ стража.

Справа, внизу Бѣлое море.

Слѣва дорога тянется къ бухтѣ, успокоенной и гладкой. Вѣтеръ стихъ.

Солдатъ съ добродушнымъ лицомъ, съ бородою снѣгомъ покрытой, недовольно бурчитъ.

«Скорѣе бы, что-ли. Скоро, поди, часъ, что старшой побѣжалъ въ Совѣтъ. Скорѣе бы, что-ли.»

«Успѣете, товарищи, вѣдь пристрѣлить насъ не долго.»

«А и вѣрно, товарищъ», соглашается со мною солдатъ. «И правда время терпитъ. Покурить развѣ.»

Садится на камень и даетъ намъ, Викову и мнѣ, папиросы.

«Аглицкій табакъ, сурьезный. Нашли у пса, Судакова. Нашъ то начальникъ тюрьмы. Вѣдь вотъ, поди, сколько песъ народу зря уморилъ. Присылали продуктъ, а онъ его припрятывалъ. Народъ пухъ, да дохъ.»

«Да, трудно другого такого пса отыскать», вставилъ молодой курносый солдатъ. «Песъ изъ псовъ... Ишь, гляди-ко, тюленя то сколько.»

Въ верстѣ отъ берега кончался «жиръ» и тамъ, гдѣ ледяной покровъ воды былъ твердымъ и сплошнымъ, группы тюленей точками ничтожными лежали на льду. Передвигались, ныряя въ полыньи. Шумъ далекій и неясный доносился съ моря.

«Скоро дѣтишекъ будутъ метать. А дѣтишки то смѣшныя. Бѣленькія, чистенькія, что бѣлки, а глаза красные. И кричатъ то словно ребятишки. Послушаешь ночью, такъ кажется ребенокъ малый плачетъ.»

«А жестокъ человѣкъ», задумчиво вставилъ первый солдатъ. «Ѣхалъ я сюда на ледоколѣ, такъ насмотрѣлся на матросню. Повылѣзали всѣ какъ есть на ледъ, да начали бить беззащитныхъ дѣтенышей палками. Ударитъ по носу, глядишь и померъ; нѣсколько сотенъ уложили въ часъ-другой. А къ чему спрашивается? Такъ, забавы ради. Жестокъ человѣкъ . . .»

«Не скажи», перебилъ его курносый солдатъ, «у насъ . . .»

«Ишь старшой бѣжитъ.»

По дорогѣ скользя и спотыкаясь бѣжалъ солдатъ въ большой папахѣ.

. . . .

«Старшой бѣжитъ. Сейчасъ . . . Сейчасъ. . .»

«Бѣжимъ», шепчетъ Виковъ. Онъ блѣденъ. Третъ свои руки, иззябшія на морозѣ. «Бѣжимъ. Насъ двое, убьемъ двухъ—трехъ, быть можетъ и спасемся.»

«Бросьте безумствовать. Куда мы убѣжимъ. До ближайшей деревни сотни верстъ голой ледяной пустыни. Бѣжать невозможно. Успокойтесь, мой другъ. Право, все кончено.»

«Нѣтъ, нѣтъ, побѣжимъ. Быть можетъ . . . Быть можетъ . . .»

. . . .

Подошелъ старшой.

«Все въ исправности.»

«Стройся.»

«А вы, господа, потрудитесь стать къ скалѣ.»

Онъ вѣжливъ, нелѣпо внимателенъ.

«Угодно лицомъ къ намъ, или спиною? Ваше дѣло!»

«Нѣтъ, къ черту, конечно лицомъ къ вамъ, нашимъ убійцамъ. Ну, кончайте скорѣе!!» крикнулъ Виковъ.

«Сейчасъ, сейчасъ», заторопился старшой. Подбѣжалъ къ солдатамъ, что-то имъ объясняя, показывая на насъ. Очевидно, совѣтывалъ стрѣлять по закону, въ грудь или въ голову.

«Сейчасъ, сейчасъ», снова повторилъ старшой.

Солдаты построились.

Я смотрѣлъ на далекія льдины — тамъ рождалась новая жизнь.

Одни гибнутъ — другіе рождаются. Во имя чего?

Я хотѣлъ солнца передъ своею смертью. И сквозь рѣдкія тучи, негрѣющее, ослѣпительно-яркое, полярное солнце, разсыпалось тысячами точекъ по мерзлой землѣ.

Солнце. Красная кровь. Тюлени. Бѣлое море.

. . . .

«Стой», дико закричалъ Виковъ, и размахивая нелѣпо руками, подбѣжалъ къ солдатамъ. «Стой, говорятъ вамъ. Не видите развѣ — вѣдь бѣгутъ сюда.»

По дорогѣ, быстро бѣжало двое людей. Они что то кричали.

«Подожди...т...т...е!!»

Наконецъ донеслось неясное слово.

«Подождите! Эй, старшо...о...ой!»

Скоро можно было различить, что бѣгутъ къ скалѣ предсѣдатель Іоханскаго Совѣта Дечинъ и знакомецъ нашъ — рыжій Трифоновъ.

«Подождите разстрѣливать!» донеслось до насъ уже отчетливо и ясно.

. . . .

«Товарищъ старшой, ведите скорѣе арестованныхъ на пароходъ. Велѣно отправить ихъ на Мурманскъ. Тамъ допросятъ и разберутъ. Ведите скорѣе. «Русановъ» уходитъ черезъ часъ.»

А Трифоновъ, смѣясь, хлопая меня по плечу, говорилъ:

«Ну вотъ, миляги, моя вышла правда: все образуется. Говорилъ я вамъ. Не даромъ я этой ночью вызывалъ дважды комиссара къ проводу. Наши то всѣ спали, наши со-

вѣтчики. — Объяснилъ ему все дѣло. Вотъ и потребовали васъ. Ну, вотъ, миляги, все вышло по хорошему. Такъ и всегда. Оно образуется.»

. . . .

Надъ «Русановымъ» летали чайки. И успокоенныя солнцемъ, не тревожимыя вѣтромъ, онѣ кричали радостно, громко.

«Чайки радуются жизни . . .

Жизни! Солнцу!»

«Имъ легче чѣмъ людямъ», задумчиво, словно про себя, сказалъ Виковъ.

Мы вышли изъ Іоханской бухты.

Май 1921.

Бутырская тюрьма. Москва.

Оглавленіе

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

„Bolcheviks jugés par eux même".
Paris. 1919. Edit. Frankoslav. (Тоже издано по-русски, испански и итальянски).
„На поворотѣ", (разсказы из Совѣтской жизни).
Paris. 1920. Ed. Povolotzky.
„Le voyage de Cachin et de Frossard dans la Russie des Soviets".
Paris. 1921. Ed. Povolotzky.
„ L'art dans la Russie des Soviets".
Bruxelles. 1921. Ed. Flambeau.
„Diktatura nad proletariatem".
Prague. 1921. Náklad. „Obrana Venkova" (по-чешски).
„Bolševici".
Roma. 1921. Ed. Slovo (по-итальянски).
„Наука Совѣтской Россіи".
Из-во Унив. Библіотеки. Берлин.
„Sauvez les enfants" (Les enfants de la Russie des Soviets) Изд. „Воля Россіи". Прага.
„Bolševictvi a sedláci".
Prague. Náklad. „Obrana Venkova" (по-чешски).
„Мятеж или исканіе". (Очерки совѣтскаго искусства, театра и литературы).
Прага. Изд. „Наша Рѣчь".

Печатается.
Тотъ, кто ищетъ.
Романъ въ 2 томахъ.